

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» И БЕЛАЯ ИДЕЯ

1.

Когда я думаю о «Возрождении», передо мною прежде всего встают, как живые, люди изо дня в день, из года в год его создававшие. Я близко их знал почти всех. Они были моими друзьями. Как больно говорить о них в прошедшем времени! Но самая острая боль все же немного смягчается при мысли, что мы не первые тщетно оживляем в памяти навсегда отошедших. Горестный опыт утрат, через который проходили при жизни ныне уже умершие, утешает живущих. Так «пронзительно-унылый» стих дорогого нам поэта, посвященный разлуке с близкими, утоляет нашу печаль. Он говорит нам о том, что не только мы оставались одинокими. Мы верим творческому слову волновавшему сердца ушедших поколений. В нем наш оплот, наша нерушимая связь с минувшим, залог нашего собственного бессмертия. Довольно иногда простого восклицания поэта, чтобы напомнить нам о круговой поруке печали. «Иных уж нет, а те далече», — воскликнул, вслед за Саади, Пушкин, скорбя о потерянных друзьях и единомышленниках. «Далече странствуют иные и в мире нет уже других», — вторил им Баратынский, горюя о покинувших его братьях по духу.

Выстраданный стих приобщает нас к мировой соборной боли, к таинству печали, он объединяет всех в жажде всеобщего воскресения, в чаянии победы над смертью:

Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,

Где среди невянущих дубров,
У нескудеющих ручьев
Я тень священную мне встречу.

Нас мало осталось в живых — прежних, старых сотрудников прежнего, старого «Возрождения», прекратившего свое существование перед самым приходом немецких войск в Париж, в 1940-м году. Нас осталось горсточка, да и та состоит из людей, ни в чем, на первый взгляд, между собою не схожих, ни в чем, кроме общего всем величайшего отвращения к красным хозяевам России. Однако, правды ради, надо отговориться, надо сразу признать, что и в нашей среде, в подтверждение старинной поговорки, нашлись уроды, отыскались изменники. К счастью, таких было немного. И не стоят они того, чтобы лишний раз называть их по имени, как нет оснований и числить их в живых: изменники еще при жизни погружаются в небытие, духовно умирают безвоскресной смертью.

Я отметил сейчас, что оставшиеся в живых старые сотрудники «Возрождения» ни в чем, на первый взгляд, между собою не схожи. Это верно, но лишь внешне, по видимости. По существу же, нас всегда объединяла и неизменно будет объединять религиозная тысячелетняя российская культура.

Совершенно особым образом характеризует старых сотрудников «Возрождения», — по крайней мере их основное ядро, — чувство глубочайшей органичности нашей культуры, приводящее к абсолютной невозможности воспринимать ее в разделении, по частям. Это чувство ведет к слитному, равновесному постижению отечественной жизни, возвращает нас к старо-киевским первоистокам, к мировосприятию православному, в самом глубоком и одновременно широком, вселенском значении этого слова.

Такое чувство, такое мировосприятие было в высшей степени свойственно, прежде всего, первому редактору, главному основоположнику идеологии «Возрождения», — П. Б. Струве и его преемнику на редакторском месте, в чрезвычайно многих, если не во всех, отношениях верному последователю его политических и государственных идей — Ю. Ф. Семенову.

В одном из первых же номеров «Возрождения» П. Б. Струве, заранее намечая идейные пути, по которым оно движется, поместил за своей подписью статью, по существу своему программную, посвященную мыслям и творчеству Константина Леонтьева. Он говорил в ней о государственных воззрениях Леонтьева, о его религиозном, церковно-православном обращении и о так называемом «народничестве» Достоевского. Конечно, Струве прекрасно понимал, что автор «Преступления и наказания», при его уме и гениальности, ничего общего с народничеством и тем более с самими народниками иметь не мог, и потому этим словом обозначал прежде всего грехи его молодости. Ведь уже к концу девятнадцатого столетия разумные люди называли Достоевского народником только потому, что не успела еще выработаться к тому времени достаточно гибкая терминология для точного определения заново образовавшихся идейных течений, народившихся чувствований и понятий. Струве знал, что молодое «народничество» Достоевского с годами перерождалось, и пройдя через долгий страдальческий опыт, преобразилось, наконец, в нечто, по существу своему глубоко религиозное. После русской революции, люди ума и культуры, как Струве, постигли, что под «народничеством» Достоевского скрывался христианский культ родины, Матери-Земли, символизирующий собою самое Богоматерь.

Достоевский основал свое христианство на особо обостренном чувстве к родине, а Константин Леонтьев развивал и возвеличивал идею отечества, неотделимую для него от строго церковного православия и религиозно понимаемой государственности. Леонтьев влагал нам в умы и сердца божественную идею отцовства, а Достоевский запечатлевал в душах мистическую сущность материнства.

В своей программной статье Струве, с необычайной прозорливостью, наметил пути по которым неминуемо должно было пойти «Возрождение». Испытавшие на себе все ужасы русской революции, возрожденцы (мы говорим о ядре «Возрождения»), волей или неволей, сознательно или бессознательно, впадали в русла, проложенные задолго до них Леонтьевым

и Достоевским. Очень скоро возрожденцы расслоились на две группы, на две, по-видимому, неизбывные для русской жизни категории, по существу лишь дополнявшие друг друга и всегда требовавшие своего синтетического слияния.

Одна из этих групп, во главе с самим Струве, Ю. Ф. Семеновым, А. А. Салтыковым, С. С. Ольденбургом, Н. Н. Чебышевым, а, несколько позднее, пишущим эти строки, обосновалась на государственных, имперских, религиозно-отечественных идеях Константина Леонтьева.

Другую группу возглавили Д. С. Мережковский и И. А. Ильин. К ним, по чувствованиям своим, примыкали Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев, И. С. Лукаш, И. Д. Сургучев, К. А. Коровин, А. М. Ренников, В. И. Горянский и многие другие. Каждый из них, по-своему и в меру отпущенных ему сил и таланта, прикидал к истокам *родины*, вольно или невольно следовал заветам Достоевского, поскольку призывал он нас припадать к Матери-Земле, прообразу вечного материнства.

На государственных, имперских идеях Константина Леонтьева, на его культе *отечества*, основал Струве «Возрождение» и тем, повторяем, выказал редкую прозорливость, проявил удивительное понимание российской духовной истории, ея тайного, органического процесса.

Самым важным в жизни Константина Леонтьева и потому особенно нужным нам, Струве считал его «погружение в церковную религиозность, сближение с монахами Оптиной пустыни и, наконец, тайный постриг — завершение внутренней душевной борьбы и обращение к религии и Церкви».

— Это обращение к церкви, — говорит Струве, — потому огромный факт русской духовной истории, что Леонтьев — самый острый ум, рожденный русской культурой девятнадцатого века. Как ум, Леонтьев острее и глубже Достоевского.

Иными словами, если самый умный русский человек позитивного девятнадцатого века пришел к религии и Церкви, то неизбежно и окончательно должна вернуться к ним русская национальная мысль, русский национальный ум.

«В чем же значение Константина Леонтьева, как писателя?» — задает себе вопрос Струве, и отвечает:

«В двух направлениях я вижу это значение.

Леонтьев единственный русский писатель, который выдвинул проблему *силы*, как проблему философскую. Поэтому он не только практически но и метафизически понял природу государства и дал ему оправдание. Кстати, сам Леонтьев не считал себя метафизиком, но это верно только в школьном и банальном смысле слова. По существу же, Леонтьев в области постижения исторического процесса, как философ истории и как политический мыслитель — глубоко проникающий метафизический ум. Именно поэтому он постиг сверхразумные (иррациональные) основания бытия государства. Его постижение государства вовсе не натуралистически позитивное (как превратно думает Бердяев), а метафизически-мистическое. У Леонтьева, конечно, были уклоны натуралистические, но эти уклоны более словесные, чем существенные, ибо самый натурализм Леонтьева обвеян мистицизмом».

Дальше Струве приводит определение Константином Леонтьевым самой сущности государства. Считая это определение абсолютно верным, Струве кладет его в основание своей государственной идеологии «Возрождения».

«Государство, — пишет Леонтьев, — есть как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинувшись некоему таинственному независимому от нас деспотическому велению внутренней, вложенной в него идеи». «...Есть люди очень гуманные, но гуманных государств не бывает. Гуманно может быть *сердце* того или другого правителя, но нации и государства не человеческий организм. Правда, и они организм, но другого порядка, они суть идеи, вложенные в известный общественный строй. У идей нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и жестоки, ибо они суть не что иное, как ясно или смутно созданные законы природы и истории».

Такое постижение Константином Леонтьевым самой сущности государства Струве справедливо называет «не натуралистическим, а именно метафизически-мистическим, самым напряженным выражением *силы* в человеческой жизни, выражением неумолимым, ибо безкорыстным, идеальным,

ибо сверхличным, живым и жизненным, ибо не только живущим, но и животворящим».

«Мне лично, — заключает Струве, — эта сторона в духовном творчестве Леонтьева особенно близка и сочувственна: через собственные политические переживания, через общественно-государственный опыт, я своим путем пришел к постижению объективной мистичности и мистической объективности государства».

Идеологически отправные точки Струве и Константина Леонтьева были прямо противоположными друг другу. Встреча этих двух мыслителей породила особый синтез, их столь различные опыты сливались воедино и приводили к единой цели. Что же еще мог бы положить Струве в основание и обоснование всей государственно-политической идеологии «Возрождения»?

Имперские пути «Возрождения» предрешались окончательно, ибо, если государство, действительно, подобно дереву, достигающему своего полного роста, цвета и плодоношения, то ничем не ущербленный, полноцветный и полновесный идеал его и есть Империя. Всякое здоровое государство, и особенно его воплощенный идеал — империя, основано на неравенстве. Можно сказать, что самой идее государства предпосылается идея неравенства. Это в одинаковой мере ведали и Леонтьев, и Струве. «Понимание государства, — продолжает Струве, — сочетается у Леонтьева с чрезвычайно острым, тоже до метафизически-мистической напряженности возвышающимся, ощущением неравенства сил в экономике и истории. Природа построена иерархически, история творится бесконечным множеством неравных во всех отношениях сил. Необходимо сознательное и покорное приятие этой расчлененности и этого неравенства».

Эти идеи Константина Леонтьева далеко не случайно Струве излагает своими словами показывая этим, что он хочет слиться с ними, как бы присвоить их себе. Он восклицает сочувственно: «Никто до Леонтьева не высказал этих мыслей о государстве и неравенстве. Никто, после него, не говорил этого так сильно и так остро. В этих «социологиче-

ских» учениях Леонтьева сливаются и его искания потусторонней правды и, наконец, его своеобразный позитивизм, научная честность, неподкупность его трезвой и испытующей мысли».

«Кроме неумирающих историко-политических идей Леонтьева, — продолжает Струве, — он, глубже всех русских светских писателей, пережил и выразил христианство в его церковно-православном существе, истинном и единственно-истинном для православных. В этом пункте я тоже решительно расхожусь с Бердяевым. Суть христианства вообще и церковного в частности и в особенности, именно в том, что оно есть учение и путь личного спасения. Поскольку же Леонтьев отрицал то, что Бердяев называет «теократической идеей» или «исканием Царства Божия» (на земле), поскольку он отвергал «христианскую общественность», он был, по моему глубочайшему убеждению, религиозно прав. В этом отношении он может и должен быть нашим учителем. Я не понимаю, как может христианин искать Царства Божия иначе, как через личное спасение. Поэтому для меня то обстоятельство, что Оптинские старцы одобряли Леонтьева более, чем славянофилов или Достоевского и Вл. Соловьева, не только не тревожно, как для Бердяева но, наоборот, успокоительно и утешительно».

Идейная встреча-слияние Струве с Леонтьевым — факт такой огромной важности в духовной российской истории, как и религиозно-церковное обращение вчерашнего язычника, самого умного русского человека девятнадцатого века.

В молодости Струве был «левым», исходил от социалистических теорий и даже достиг известности как один из основоположников марксизма в России. Леонтьев в юности был «правым» и шел от элементарно понимаемой им тогда идеи монархизма.

Быть «левым» и «правым» это значит прежде всего на каждом шагу и повороте грешить тем, что в философии называется коротким замыканием, ошибкой чрезмерно поспешных посылок и выводов. Струве в молодости слишком часто

прибегал к торопливым умозаключениям, но путем горького личного опыта как человек исключительно умный, исцелился в зрелом возрасте от коротких замыканий, приобрел от них полнейший иммунитет. А Леонтьев, благодаря склонности к радикальным решениям и полемическому задору, никогда не мог совершенно отказаться от поспешного вывода. Упрекая его за это, Струве проводит замечательную мысль, которая, по существу, под самый корень подкашивает все «правые» и «левые» положения, или, как принято выражаться теперь «установки».

«Из философии силы и государства, из ясного понимания лестничного строения человечества и иерархического развертывания истории не вытекает никаких конкретных выводов и никаких определенных исторических предвидений. Из того что абсолютное всеобщее равенство невозможно и бессмысленно, не вытекает вовсе никаких вопросов о формах относительного равенства. Поэтому будучи настоящим учителем и для нашего времени в отношении метафизически и мистически общественно-государственного бытия, Леонтьев не может быть таковым в отношении конкретной политики и развертывающейся на наших глазах живой истории. Успехи «демократии» не опровергают философских идей Леонтьева, и успехи «фашизма» их не подтверждают. Историческая и политическая философия не отливает пуль ни в каком смысле и не изготавливает политических фейерверков».

Вот смертный приговор всему «правому» и «левому»! Струве на личном опыте убедился, что не только никакие теории, в том числе и марксистская, но и подлинные творческие раскрытия абсолютных метафизических и мистических истин не применимы в их категорических формах к свершающемуся, еще не законченному, историческому и политическому процессу. Ни изощренные теории, ни открытые великим умом высшие законы бытия, к текущему, незавершенному ходу земных событий искусственно неприложимы. Они должны органически понадобиться живому течению истории, и велик тот государственный деятель, который умеет угадывать таинственный рост этой органичности, и во-время, на

лету, подобно Петру Великому внедрять идеи в жизнь, облекая их в плоть и кровь.

Многие предсказания Константина Леонтьева действительно и дословно сбывшиеся, основывались не на раскрытых им же метафизических законах, а на его трезвом понимании характера русского народа. Леонтьев видел, до какого падения доведут этот народ то сентиментально слащавые, то злобные и мстительные «идеи» наших нигилистов и народников, утвердившихся в атеизме.

То, что Леонтьев видел заранее, как трезвый наблюдатель, Струве познал на собственном тяжелом опыте. Он изжил и победил в себе все «левое», революционное, а Леонтьев преодолел в себе все «правое», реакционное. И тот и другой в зрелом возрасте перешли в идейно иной, высший план, оказались высоко над «правым» и «левым» и духовно встретились друг с другом на имперских путях.

И жизнь «Возрождения» началась с празднования этой знаменательной встречи.

2.

С первых же дней нашего эмигрантского существования стало очевидным, что все надежды белой армии на возобновление войны с большевиками совершенно напрасны и что галлиполийское сидение всего лишь последний этап перед неминуемым рассеянием русских эмигрантов по лицу земли. Ведь очень тогда влиятельная великобританская политика уже нащупывала исподволь, осторожно, всяческие возможности сближения с советами. Крушение имперской, императорской России рассматривалось английскими государственными людьми, как неожиданный подарок, как нечто, чрезвычайно для Англии выгодное. С тех пор миновали тридцать пять лет, и грандиозные успехи большевиков в Европе и Азии, захват советами наиважнейших стратегических пунктов, половины западно-европейской промышленности и целого ряда вчера еще самостоятельных государств вряд ли в чем изменили английскую точку зрения на российские дела. Зато все «сво-

бодные страны» Старого и Нового света, за исключением Испании и Португалии, всецело присоединились к великобританским расчетам в надежде получить и для себя какую-то прибыль от общения со все усиливающейся, не по дням, а по часам, большевизией.

В первые годы своего существования в Турции и в Китае русские эмигранты все ждали каких-то изменений, улучшений, какого-то прояснения в головах мировых политиков, а дождались совсем иного: в поисках скудного пропитания пришлось расставаться с грезами и искать убежища по разным балканским странам, но главным образом, во Франции.

Первым и самым тяжким ударом для нас, недавних военных участников белого движения, и для всех по духу нам близких людей, было сознание того, что и здесь в эмиграции, мы не только ни избавились от февральских либералов, от революционной непрошенной «элиты», от самозванных свобододолюбивых наставников, но наоборот, оказались безвозвратно опутанными и окутанными их неустанным вниманием и нежными заботами.

Тотчас же по прибытии на Балканы и во Францию, бывшим офицерам и солдатам Белой армии пришлось наниматься на тяжелую работу по фабрикам и заводам, превращаться в слесарей, в маляров, в столяров, плотников, шоферов, лакеев, в гармонистов, танцоров и балалаечников, а после дневного или ночного труда почитать в часы отдыха «Общее Дело» Бурцева, «Последние Новости» Милюкова, «Дни» Керенского, «Руль» Гессена и марксистские «Современные Записки» Цетлина, Вишняка и Фундаминского.

Печатный орган Бурцева сравнительно скоро заглох, очевидно, не столько по недостатку денежных средств, сколько потому, что избыточная энергия престарелого революционного Пинкертона безвозвратно иссякла. Газета Милюкова, напротив того, быстро окрепла в финансовом отношении и, избавившись от единственного своего серьезного конкурента, приобрела довольно многочисленных подписчиков и читателей.

В те годы, теперь столь далекие, русская эмиграция, мо-

рально возглавляемая вначале генералом Врангелем, потом генералом Кутеповым, Обще-Воинским и Галлиполийским Союдами, придерживалась в своем подавляющем, громадном большинстве весьма консервативных взглядов, что нисколько не мешало ей относиться с недоверием к крайне правым политическим организациям. Белая армия не могла простить им выжидательной тактики, которой они придерживались в ходе гражданской войны.

Все же левую февральскую печать эмиграция положительно ненавидела. Но выбора не имелось, а родной язык, пусть далеко не прозрачного качества, был для русского человека, недавно лишившегося отечества, насущной духовной потребностью.

Кляня немилосердную судьбу, бывшие участники гражданской войны, за неимением выбора, приступили к чтению милкоковской газеты, а расчетливые издатели «Последних Новостей» спокойно выжидали действия всеильной привычки, по уверению поэта дарованной нам свыше, взамен недосягаемого счастья.

Жизнь русских белых эмигрантов, по прибытии на Балканы, в Чехию, Германию и во Францию, сразу же сложилась в духовном и материальном отношении до последней степени неудачно. Все заграничные русские учреждения — посольства, консульства, посольские и прочие денежные суммы захватило еще временное правительство. Повсюду сидели его ставленники, относившиеся явно враждебно к консервативно настроенному белому офицерству и крайне подозрительно к эмиграции в целом, в свою очередь от всей души презиравшей воцарившихся над нею февральских лицедеев.

Различные общественные организации, образовавшиеся в свое время при Деникине за спиной Белой армии, и состоявшие в огромном большинстве из левых элементов, своевременно эвакуировавшись, успели примкнуть к заграничным сторонникам временного правительства.

Православные церковные общины за немногими исключениями, вскоре попали в руки неведомых сообществ, стремившихся посредством многообразного скрытого воздействия

на церковь к политическому перевоспитанию неопытной молодежи, к постепенному разложению в ту пору духовно цельного и крепкого эмигрантского ядра. Бывший царский министр, ныне покойный, сыграл в этом отношении очень темную и до сих пор еще до конца невыясненную роль.

Тем временем голодные русские писатели и журналисты, волей или неволей, шли за денежной помощью к некоему богачу, прозванному «королем жемчуга», и его друзьям, сторонникам и поклонникам февральской революции. Немудрено, что писатель, даже очень и очень консервативных воззрений, вынужден был ради пропитания, присоединить свой голос к хору левых славословий, или же молчать на политические темы, лицемерно ссылаясь на служение чистому искусству.

Деятельность левых интеллигентов немало способствовала разъединению русской эмиграции. Однако злое дело раскола они не могли бы успешно закончить без прямого и упорного содействия правых партийных организаций. Эти, поистине реакционные сообщества, легкомысленной игрою с шапкой Мономаха, с императорской короной, тяжко дискредитировали самую идею монархии в душах многих и многих чистых и честных эмигрантов.

Немногие умеют отличить сущность высокой идеи от ее недостойных слугителей. И что говорить о житейском торжище, о политике и политиканах, когда даже в религии большинство не отделяет иного недостойного иерарха, преданного всем грехам и порокам, от сияющей правды догматов и таинств богослужения. Необходимо прямо признаться, что в раздроблении эмиграции виновны прежде всего правые. Они своими спорами о легитимном и нелегитимном претенденте на престол, спорами, здесь за границей совершенно бессмысленными, ибо беспочвенными, снижали идею монархии. И когда один из великих князей объявил себя здесь, за рубежом, на чужбине, всероссийским императором, то всем стало ясно, что этим торжественным, но совершенно бесплодным для русского дела, жестом воспользуются в своих целях лишь Сталин в Москве и Милюков в Париже. Сторонникам всерос-

сийского зарубежного императора Сталин умудрился несколько позднее преподнести существенный подарок в виде младорусского содружества насквозь пронизанного и пропитанного советской агентурой, а Милюков и его ближайшие помощники, подхватив бутафорскую мантию, шутовски щеголяли в ней на радость «февральским героям». Милюковские «Последние Новости» умело углубляли зарубежную рознь, взаимное непонимание, и мастерски раздували в событие малейшее политическое недоразумение в эмигрантской среде. Уже к началу 1925 года они пустили в ход свой главный козырь, бросили в публику соблазнительный лозунг, оказавшийся весьма живучим и ядовитым: «Да здравствует начавшаяся советская эволюция!»

Этот призыв, по верному расчету «Последних Новостей», должен был хотя бы частично ослабить решительную противосоветскую деятельность руководимого генералом Врангелем и впоследствии генералом Кутеповым Обще-Воинского Союза и постепенно погрузить эмиграцию в созерцательное оцепенение. Так помогла милюковская партия некоторым иностранным сообществам, проводившим исподволь в эмиграции, посредством влияния на церковь и на молодежь, коротенькую, но вредоносную идейку непротивления злу. Одновременно, в двух согласованных планах, велась работа по сокрушению здорового эмигрантского ядра.

Вдобаков ко всем несчастьям, в эмигрантской среде родились евразийцы — некий союз худосочных интеллигентов, призывавших нас по старинке повернуться спиной к гнилому западу, а лицом стать к обновляющей душу Азии, кстати сказать, уже сильно поколебленной к тому времени большевицкой пропагандой. О евразийцах, самих по себе, не стоило бы и упоминать, но, как это часто бывает, наивные рассуждения и теории породили вульгарную практику, из безобидного на вид евразийского яичка вылупился впоследствии младоросский змееныш — странная помесь Хлестакова с Мамаем. Всем памятно как воспользовались большевики младороссами, чтобы лишний раз принизить идею монархии и приучить эмигрантскую молодежь к демагогическим вы-

крикам на митинговых собраниях второй советской партии.

Все же, если не считать канонического и политического шатания некоторых высокопоставленных служителей церкви, крайне вредоносного, духовно развратившего паству, никто не поработал так над разложением эмиграции, как Милюков и его ближайшие соратники.

Уже к началу 1925 года лучшая часть эмиграции устала ежедневно переносить в печати уколы и оскорбления, получать моральные пощечины и затрещины. На страницах «Последних Новостей» открыто порочилось все высокое, святое в российском прошлом. Например, некий Михаил Осоргин теперь уже всеми забытый журналист и «писатель», нисколько не стеснялся высмеивать в милюковской газете всех русских святых и подвижников, выдавая их за дурачков, попрошайек и пьяниц. Осоргин, по примеру большинства журналистов, писавших в «Последних Новостях», подобострастно соблюдал правила, строго установленные самим Милюковым еще в его «Очерках по истории русской культуры», кстати сказать уже здесь, в эмиграции, основательно пополненных, непомерно разбухших от авторского тщеславия.

Недаром, когда в 1939 году «вождю и учителю» исполнилось восемьдесят лет, один из вернейших последователей «маститого», Игорь Демидов, назвал «Очерки» на страницах «Последних Новостей» «евангелием русской интеллигенции».

3.

К началу 1925 года существование лучших русских людей, находящихся за рубежом, стало в моральном отношении непереносимым. Зато наглый нажим врагов эмиграции с Милюковым во главе, породил в ней властную потребность в правдивом печатном слове. Эмиграция жаждала тогда ведущей умственной силы, политической честности и дальновидности, отражения в слове своей любви к России, к её историческому и культурному прошлому. Нужна была большая

ежедневная газета, политическая и одновременно историко-софская и литературная.

В жизни очень часто, если не постоянно, случается так, что когда окончательно назрет в нас какая-либо неотложная, глубокая, действительно духовная потребность, то совершенно неожиданно находится человек, желающий и могущий удовлетворить эту нашу внутреннюю нужду. В трудное для русских эмигрантов время такой человек отыскился.

В начале 1925 года А. О. Гукасов послал телеграмму П. Б. Струве, проживавшему тогда в Праге, с просьбой приехать в Париж для переговоров об издании большой ежедневной газеты. Струве немедленно откликнулся на призыв. Издание «Возрождения», названного в подзаголовке, по настоянию А. О. Гукасова, «печатным органом русской национальной мысли», вскорости было решено.

Во главе «Возрождения» встал Струве.

Жизнь и судьба этого замечательнейшего по уму, таланту и образованию русского человека одинаково и в высшей степени поучительна для наших правых и левых кругов. В свои молодые годы, будучи одним из основоположников русского марксизма, Струве стоять на месте не захотел. Он медленно, но безостановочно, эволюционировал, вернее, внутренне, религиозно и соответственно с этим политически — перерождался, двигаясь слева направо не в плоскости, а уходя от нее вверх, перемещаясь в иной план, недостижимый для ума, ущербленного и раздробленного партийностью. Струве шел не к правой бытовой биологической органичности, для человеческого духа унижительной, а к бытиево-духовной цельности. Он, как мы уже говорили в начале этой книги, двигался навстречу Константину Леонтьеву, к идеологическому слиянию с ним.

Судить о молодом «марксизме» Струве необходимо с такой же осторожностью, как требует суждение о молодом «народничестве» Достоевского. Если под сомнительным «народничеством» скрывалась до времени вера Достоевского в надсословную элиту, образующуюся в годину испытаний в крови и страданиях, то под не менее сомнительным «марксизмом»

Струве таилась вера в подлинное существование мира Платоновых идей, дышало упование на высокую зиждительную идею, нисходящую долу, дабы сверху, извне, пересоздавать, преображать человеческую жизнь на иной, возвышенный лад.

Но несмотря на незрелость, на идейную неясность такого рода «народничества» и «марксизма», можно и должно различать на них печать нашего общерусского революционного падения. Достоевский искупил свой грех, исцелился от своей одержимости, стоянием у смертного столба, каторгой и солдатчиной, а Струве дано было незримым путем, неведомым внутренним усилием, постепенно и заблаговременно уйти от собственного революционного согрешения, перестроиться, организовать по новому. Падение Струве было сравнительно неглубоким: через настоящую одержимость революцией, он, в противовес Достоевскому, никогда не проходил. Марксизм был для него далеко не так опасен, как было опасно и губительно народничество для Достоевского. В марксистском учении содержится немалая доля истины, и прежде всего потому, что оно проповедует идею, имеющую как бы свое самостоятельное бытие, и извне организующую и перевоспитывающую человеческое общество. Для правоверного марксиста народ, — биологическая гуща, человечина, — не есть носитель «правды». По марксистскому учению «правда» — пусть с нашей совершенно верной точки зрения злая, сатанинская — обретается не в народе, а в организующей его идее. Присущая народникам вера в народную утробу, якобы порождающую из себя самой жизненные истины, всячески чуждая марксизму. Учение Маркса, по существу своему, злодуховно, но все же оно духовно, а совсем не материалистично. Марксизм утверждает материю, как единственную вечную реальность. Но ведь все вечное духовно, и смысл марксистского утверждения сводится поэтому лишь к особому богоборческому приему, могущему обмануть разве только человека улицы.

Зато все народнические учения, левые и правые, с их верой в народные недра, в народную утробу, глубоко и беспросветно материалистичны. Все злодуховное в человеке мо-

жет преобразиться, религиозно просиять, но обожествление народной утробы способно только, да и то далеко не всегда, привести человека к бытовому исповедничеству, к оторванной от всего духовного пустой обрядности. Народничество убивает веру в идею и потому оно неминуемо приводит к безыдейной демократической толчее на одном месте. Существо, обожествившему утробу, все духовные пути заказаны, а человек, поверивший вчера в марксистские положения, может сегодня уверовать во Христа, из Савла преобразиться в Павла, из революционера превратиться не в мертвого реакционера, но живого носителя имперской идеи.

Именно такого рода превращение испытал на себе Струве. В 1917 году, занимая при временном правительстве пост директора экономического департамента, он был не левым и не правым, а вполне имперским человеком. Это кстати ясно показывает все написанное и напечатанное им, как мыслителем, в течение десятилетия непосредственно предшествовавшего революции. В 1917 году Струве оставалось только бежать без оглядки с директорского поста, от своих случайных, враждебно к нему настроенных соотечественников.

Приведем теперь чрезвычайно краткую, поневоле скупую и сухую заметку о жизни и деятельности П. Б. Струве, любезно составленную, по нашей просьбе, его сыном, Глебом Петровичем.

Петр Бернгардович Струве родился в Перми 26-го января (7-го февраля) 1870 года. Внук знаменитого астронома, В. Я. Струве, основателя и первого директора Пулковской Обсерватории. Окончил С.-Петербургскую 3-ю гимназию и Юридический факультет Санкт-Петербургского Университета. В 90-х годах был одним из вождей так называемого легального марксизма. Нашумел своей книгой «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» (1893 г.), против которой выступил Ленин. Редактировал первые марксистские журналы «Начало» и «Новое Слово». В 1895 году составил от имени всего оппозиционного движения в России «Открытое письмо Николаю II-му». С этого момента начинается сближение П. Б. Струве с земцами-либера-

лами, в частности с Ф. И. Родичевым и И. И. Петрункевичем, и постепенный отход от марксизма, хотя в 1898-м году П. Б. еще составляет манифест социал-демократической партии. К началу 900-х годов поворот от марксизма к идеализму и от социализма к либерализму окончательно обозначается.

В 1901-м году П. Б. эмигрирует за границу и, по поручению Союза Освобождения, становится редактором еженедельника «Освобождение», органа русского конституционного движения, сыгравшего большую роль в борьбе за конституцию. Выходит оно сначала в Штутгарте, потом в Париже. Сразу после 17-го октября 1905 года возвращается в Россию, где редактирует журналы «Полярная Звезда» и «Свобода и Культура», становится членом партии народной свободы и избирается во 2-ю Государственную Думу. После роспуска последней, отходит от активной политики и становится сначала доцентом, а потом профессором политической экономии в Политехническом Институте имени Петра Великого. Одновременно занимается публицистической деятельностью, отходя вправо от кадетской партии, но не порывая с ней формально. Редактирует «Русскую Мысль», сначала совместно с А. А. Кизеветтером, затем единолично. Под редакцией Струве «Русская Мысль» становится самым интересным русским толстым журналом. Принимает ближайшее участие в сборнике «Вехи», где его статья «Интеллигенция и Революция» противопоставляет традиционному умонастроению интеллигенции положительную национально-либеральную программу. Большой резонанс в России и вне ее получает статья «Великая Россия», являющаяся как бы программой русского национал-либерализма. Она входит впоследствии в сборник статей 1905-1910 года, под названием «Патриотика», основную ноту которого сам автор характеризовал, как «патриотическую тревогу» (более ранние статьи П. Б. вошли в сборник «На разные темы», 1902 г.).

Во время первой мировой войны состоит членом Особого Сопровождающего Комитета по продовольствию, а позднее возглавляет правительственный комитет по ограничению торговли с неприятелем — русский эквивалент западно-европейских министерств

блокады, для которого совершает в 1916-м году поездку в Лондон и Париж (во время этой поездки принимает также участие в лекциях о России в Кембриджском Университете). В начале 1917 года получает в Киевском Университете степень доктора политической экономии за вторую часть своего труда «Хозяйство и цена», первая часть которого, вышедшая в 1913 году, составляла магистерскую диссертацию П. Б. Избирается действительным членом Академии Наук. После февральской революции, короткое время занимает пост директора Экономического Департамента министерства иностранных дел при П. Н. Милюкове, но выходит в отставку одновременно с последним. Основывает Лигу Русской Культуры и редактирует журнал «Русская Свобода». На государственном совещании в Москве и в «предпарламенте» занимает позицию на правом крыле, представляя так называемое «Объединение Общественных Деятелей». В одном из последних заседаний «предпарламента» произносит яркую речь, в которой характеризует большевизм, как «смесь русской сивухи с пойлом из Карла Маркса».

С декабря 1917 года по весну 1918 года находится в Новочеркасске и Ростове, сотрудничая с Добровольческой Армией генерала Алексева и Корнилова. Лето 1918 года проводит в советской Москве на полуплегалном положении, принимая участие в «Национальном Центре», по делу которого впоследствии заочно приговаривается к смерти. В декабре 1918 года покидает Россию, перейдя пешком финляндскую границу. Участвует в Политическом Совещании в Париже, затем уезжает на юг России, к генералу Деникину, и в Ростове редактирует газету «Великая Россия». После перехода власти к ген. Врангелю назначается Управляющим внешними сношениями Вооруженных Сил Юга России и в этом качестве ведет переговоры с президентом Мильбераном и добивается признания Францией правительства Врангеля. С конца 1920 по начало 1922 года живет в Париже и Берлине, затем переселяется в Прагу, где становится профессором Русского Университета. Возобновляет издание «Русской Мысли», выходящей сначала в Софии, затем в Праге и Берлине. С 1925

✓ по осень 1927 года редактирует «Возрождение». С уходом из «Возрождения», основывает еженедельную газету «Россия», а с 1928 года переселившись в Белград, руководит оттуда, выходящей в Париже, еженедельной же газетой «Россия и Славянство».

✓ В период издания «Возрождения» П. Б. близко стоит к великому князю Николаю Николаевичу и генералу А. П. Кутепову. В 1926-м году он председательствует на Зарубежном Съезде, одним из инициаторов которого он явился.

В Белграде П. Б. возвращается к академической и научной деятельности, сначала в Русском Научном Институте, а потом в сербском университете в Субботице. Одновременно пишет «Экономическую и социальную историю России с древнейших времен до наших дней», приготавливая первый том для печати как раз перед второй мировой войной. Перерабатывает по-немецки свой основной теоретический труд «Хозяйство и цена» и работает над историей мировой экономической мысли. В мае 1941 года, вскоре после вторжения гитлеровских войск в Югославию, арестовывается Гестапо и проводит в заключении два месяца, сначала в Белграде, потом в Граце (Австрия). В 1942 году перебирается в Париж, где до самой смерти продолжает работать над второй частью своей «Истории России».

П. Б. Струве скончался в Париже 26-го февраля 1944-го года, на девять месяцев пережив свою жену, Нину Александровну, урожденную Герд.

Первый номер «Возрождения» вышел в свет 3-го июня 1925-го года. С тех пор минуло 30 лет. Срок немалый для нашей смутной, богатой мировыми событиями, подвижной и изменчивой эпохи.

Но перечитывая внимательно страницы «Возрождения», немедленно убеждаешься в том, как живо, остро и реально отображало оно текущую действительность, как крепко сплослось оно с культурным историческим и государственным прошлым России, как дальновидно, умело оно, присматриваясь к движущемуся противоречивому жизненному потоку, предсказывать политические и исторические повороты, ре-

шения, изменения и события. С годами полностью оправдалось также «непредрешенчество» «Возрождения», его беспартийность, вернее же и точнее было бы сказать, его имперская синтетическая надпартийность, способность сосредоточить, благоговейно сохранить, удержать в себе духовную идею, веками создававшую Киевскую и Московскую Русь и великую имперскую петербургскую Россию. Но с первых же дней занятая «Возрождением» строгая позиция непредрешения насколько не мешала ему судить о том, какой образ правления желателен и реально осуществим в освобожденной от большевиков России. Так в 1926-м году Струве писал в одной из своих передовиц:

«Республика! К ней у большинства русских людей нет ни малейшего вкуса, ни за рубежом, ни внутри самой России».

Под этим заявлением могли бы подписаться все, за редчайшим исключением, писатели и журналисты, работавшие в «Возрождении» и при Струве, и при Семенове. Все мы одинаково верили в то, что только одна монархическая идея могла бы спасти и возродить наше Отечество. Однако, никто из нас не считал для себя позволительным проповедовать, по примеру правых эмигрантских группировок, эту идею в партийном и реставрационном порядке. Каждый из нас признавал, что реставрация, опирающаяся вдобавок на заранее составленную политическую программу, была бы нежизнеспособной, типично правой, иными словами глубоко антиимперской, племенной реакцией.

В 1926 году, подводя итог годовой деятельности «Возрождения» и совершенно верно отражая мнения и чаяния не только издателя и всех сотрудников руководимой им газеты, но и всего, тогда еще очень крепкого ядра белой армии, Струве писал:

«Год в исторической жизни и, в частности, год существования ежедневной газеты — короткий срок. Но в условиях зарубежной России этого огромного патриотического исхода, совершенного в борьбе, вынуждено и в то же время свободно,

год есть большой промежуток времени, и он вдвойне велик для нашего дела, дела влияния на общественное мнение.

За это время наши усилия были направлены на объединение *национального общественного мнения за рубежом*.

Мы не задавались при этом мечтательной целью — разом объединить всех, одним ударом стереть все различия, утопить все разночувствия и разномыслия. Это либо было бы невозможно, либо то единство, которое получилось бы таким путем, оказалось бы единством серого и бездейственного безразличия, неспособного ни одушевлять, ни увлекать.

Когда мы начали выпускать «Возрождение», зарубежная Россия в её *национальной* части, живущей преданиями исторической России и живой ее духом, назвала имя того Лица, в котором она увидела и нашла своего *Вождя*, Великого Князя Николая Николаевича. Став под это знамя, «Возрождение» упорно скликало под него русских людей и, надо думать, достигло в этом деле значительных и прочных успехов.

То объединение, к которому звало и зовет «Возрождение», не есть объединение на какой-либо *доктрине* и какой-либо *партии*.

Основные идеи наши просты и ясны.

Мы сознательно и убежденно приемлем и выдвигаем *личный авторитет* Великого Князя... Авторитет не господства, а *служения*.

Мы сознательно и убежденно рассматриваем себя, как слуг великого организма *Русской Армии*, той силы, которая встала на защиту бытия и чести России против разрушительной *антинациональной смуты*. Эта великая национальная сила и теперь готова каждую минуту ринуться в бой с III-м Интернационалом. Служа ей, мы слуги и глашатаи *белой идеи* и *белого движения*.

Мы сознательно и убежденно настаиваем на том, что Зарубежье должно духовно и политически не вариться в собственном соку, не жить мелкими счетами и перекорами «эмиграции», а всеми своими мыслями и действиями быть обращено туда, к *подъяремной внутренней России*.

Именно эта обращенность к внутренней России внушает

нам и властно диктует не партийно-политическую программу, а некоторые основные и несдвигаемые линии нашего политического мышления и поведения. (Подчеркнуто мной — Г. М.).

Отвергая ложные идеи и злой дух революции, в своих разрушениях себя пережившей и изжившей, мы учитываем великие сдвиги и крупные изменения, происшедшие в народной жизни. России нужно возрождение, а не реставрация. (Подчеркнуто мною. — Г. М.). Возрождение, всеобъемлющее, проникнутое идеями нации и отечества (Подчеркнуто мною. — Г. М.) свободы и собственности и в то же время свободное от духа и духов корысти и мести. Поэтому мы стоим непреклонно за установление собственности и предостерегаем от увлечения несбыточными мечтами о восстановлении и реставрации собственности. Необходимо обращаться к России внутренней и идти в нее с ясной и твердой идеей собственности и нельзя идти туда с мечтами о возврате собственности...

Однако сейчас бесплодно вырисовывать те государственные пути, по которым пойдет возрожденная Россия, и тем более нелепо диктовать те формы, в которые выльется ее политическая жизнь. Вот почему у нас нет политических рецептов, а есть ясная и твердая мысль — России нужны: прочно огражденная свобода лица и сильная правительствующая власть.

Наконец у нас есть ясное сознание и твердое убеждение, что духовная крепость и свобода лица, мощь и величие государства в своих глубинах, основах и истоках восходят к непреложным религиозным началам. Отрываясь от этих начал, личность духовно никнет и мельчает, корни ее свободного бытия иссыхают. И государство, которое отнюдь не представляет просто технического приспособления, а есть некий таинственный сосуд национальной, духовной и жизненной энергии, испытывает ту же судьбу, когда отрывается от религиозных начал.

Вот почему для нас Великая Россия и Святая Русь не два различных естества, а лишь два различных лица единой

и живой в своем единстве духовной сущности». (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

Ум Струве не отличался особой гибкостью, переливами и оттенками, он был скорее рудиментарным, зато мощным и глубоким. Эти его свойства отражались и на языке Струве, выражавшем с редкою точностью и даже какою-то тяжело-весной грацией очень сложную, разветвленную мысль, заветную суть предмета. Так в приведенной нами заметке, несмотря на ее краткость, Струве удалось в немногих словах определить идеологические основы «Возрождения», выразить начальные положения, из которых оно выросло и развивалось.

И вот необходимо прямо сказать, что если бы в начале гражданской войны генералы, руководившие белой армией, применили к жизни политическую и государственную идеологию, которую впоследствии, уже в эмиграции, обосновало и развивало «Возрождение», с первых же дней своего существования, то они несомненно оказались бы победителями и спасли бы Россию от ее красных завоевателей. Белому движению прежде всего не хватало *личного авторитета*; ему недоставало царственного или, если угодно, великокняжеского возглавителя, возведенного военными вождями, вполне сознательно и убежденно, на некую мистическую высоту. Причем этот *личный* великокняжеский авторитет должно было бы признать, говоря словами «Возрождения», не как символ господства, а как символ служения. Господство же, прибавим мы от себя, всегда успело бы вступить в свои права.

Идея государственного служения, так настойчиво проповеданная «Возрождением», сама по себе была, конечно, не нова, и тот же великий князь Николай Николаевич, стоя в годы войны во главе российской императорской армии, знал и понимал до глубины, что он *служит* Отечеству, а господствует, начальствует только во имя служения.

Заслуга «Возрождения» состояла в том, что в страшные годы изгнания оно не только напомнило нам об идее царственного служения, но и сумело ее обосновать и развить, опираясь всецело на заветные мысли нашего великого российско-

го государственника Константина Леонтьева. Сила «Возрождения» состояла в том, что под руководством Струве и впоследствии Семенова, мудро сумевшего продолжить идейное дело своего предшественника, оно глубоко уходило своими корнями в российскую культуру вообще, и в государственную особенно. «Возрождение», будучи само духовным организмом, умело в трагическую пору нашей жизни органически продолжить, разветвить идеи, на которых в течение целого тысячелетия покоилась русская и российская государственность. Именно благодаря этому, оно проявило совершенно исключительную политическую зрелость, дальновидность, и не только в русских, но и в иностранных делах.

Говоря в своей заметке об усилиях, направленных «Возрождением» на образование общественного мнения, Струве дважды подчеркивает, что он имеет в виду мнение национальной части эмиграции, живущей преданиями исторической России и живой ее духом. Но в таком случае, кого же из русских, проживавших за рубежом, причислял он к лагерю враждебному или по меньшей мере равнодушному ко всему действительно национальному? В первую очередь, конечно, эмигрантов, примыкавших по своим политическим воззрениям, и, что еще важнее, по своему антирелигиозному мировосприятию, к «Дням» Керенского и «Последним Новостям» Миллюкова.

К этой немногочисленной, но, благодаря своим связям и денежным средствам, весьма влиятельной части русской эмиграции, «Возрождение» обращалось вначале, хоть и условно, а все же с оттенком некоторой надежды на возможность, если не сговориться, то по крайности что-то выяснить сообща, добросовестно разобраться в политической путанице, намеренно, как потом оказалось, учиняемой главным образом «Последними Новостями». Очень скоро, однако, «Возрождение» вынуждено было признать, что невозможны никакие переговоры, ни с «Днями», ненавидевшими, по свидетельству, Струве, все белое движение в целом, ни с «Последними Новостями», газетой во всех отношениях недобропорядочной,

бесчестной. Эмигрантские круги, примыкавшие по своим взглядам к «Дням» и к «Последним Новостям», Струве считал антинациональными. Уточняя положение, он немногим позднее писал в «Возрождении».

«Наша позиция всегда определялась и сейчас определяется тем, что мы по отношению к «советчине» являемся абсолютными и безоговорочными революционерами или, если угодно, контр-революционерами, и это отделяет и отдаляет нас практически и душевно от Милюкова и Кусковой (известной засыпательницей рвов. — Г. М.), так же, как сближает нас, если мы их правильно понимаем — с Мельгуновым и Быстровым, как бы ни расходились наши программы и наши исторические взгляды. «Генеральное размежевание», то, которое сейчас, и там — в России, и здесь — за рубежом, в умах и в душах производит действительная жизнь, существеннее, крепче всяких теоретических заявлений и партийных программ».

Все же нельзя не заметить, что руководствуясь таким «генеральным размежеванием», Струве, а вслед за ним и «Возрождение», слишком широко понимали все истинно национальное. Ведь объединяющие нас душевно и практически положительные признаки неизмеримо важнее отрицательных.

Длительный опыт показал нам, что на одном отрицании какого-либо жизненного явления, отрицании, хотя бы и очень дружном, невозможно создать настоящего объединения чужеродных сил. Прежде, чем объединиться, необходимо сообща утвердить нечто положительное и уже тогда всем встать под знамя единой, положительной идеи. Но у верующих в Бога все положительное неизменно зиждется на религии, враждебной или по меньшей мере чуждой людям неверующим. Все свои политические и государственные воззрения, — как справедливо говорит Струве, — «Возрождение» строило на религиозных началах. Такое отношение к государственности в корне неприемлемо для людей неверующих, настойчиво и вполне сознательно отделяющих, отбрасывающих церков и вообще всё религиозное от государства, рев-

ниво охраняющих дела политические от всякого духовного влияния и вмешательства. Чаяния людей верующих никогда и ни в чем не совпадают с жизненными расчетами неверующих. Жизнь и судьба существ религиозных движется в ином направлении и управляется совершенно иными законами, чем жизнь и судьба атеистов, и это глубочайшее, непреодолимое различие, всегда существовавшее, в наши дни переоценок всех ценностей, пересмотра всех условий и правил общежития, становится прямо роковым, особенно в области политической, как наиболее теперь насущной, непосредственно жизненной.

Все свои государственные воззрения, любовь свою к России, «Возрождение» неизменно выводило из религиозных основ. В этом отношении приведенная нами заметка Струве *чрезвычайно* характерна. «Возрождение» при Струве, равно как и при Семенове, обладало ясным пониманием того, что экономическая и политическая свобода лиц, мощь и величие государства восходят к непреложным религиозным началам.

«Отрываясь от этих начал, — пишет Струве, — личность духовно никнет и мельчает, корни ее свободного бытия иссыхают».

Однако, личность нерелигиозная и, следовательно, по определению «Возрождения», сникшая, измельчавшая, никогда своей вымороченности, своего обветшания не признает, а будет, напротив того, властно и во всеуслышание заявлять о себе, стараться осуществить свои политические «убеждения».

Призывая всех к объединению по признаку отрицательному, по признаку ненависти к советчине, «Возрождение» бесспорно впадало в противоречие с самим собою, но противоречие необходимое и живое, как сама жизнь. Ибо только таким образом можно было измерить, определить до конца всю степень нашего эмигрантского и всероссийского расщепления. «Зарубежный съезд» сыграл в этом отношении перво-степенную роль, но о нем речь впереди.

Религиозные основы, на которых строило «Возрождение» свои политические и государственные высказывания постоянно критиковались и высмеивались левой эмигрантской печатью, особенно «Последними Новостями», уличавшими возрожденцев в преданности «бесплодной метафизике». Однако, время — единственный в данном случае нелицеприятный судья, — оправдало без малого все политические предсказания «Возрождения» и показало на деле — насколько реально и трезво смотрели на будущее Струве, Семенов, Ольденбург, Чебышев, И. А. Ильин, Салтыков и Мережковский. Все же политические «прогнозы» Милюкова и его единомышленников оказались жизненно несостоятельными, начиная хотя бы с излюбленного «Последними Новостями» учения о неминувности советской эволюции, проводившегося с удивительным упорством в течение многих лет этой газетой. Кстати сказать, это самое учение и довело, по окончании второй мировой войны, некоторых очень видных эмигрантов до дружественных поездок в полпредства, а рядовых русских людей до добровольного принятия советского подданства.

О невозможности советской эволюции Струве писал в «Возрождении» неоднократно, начиная с июля 1925 года:

«Мнение Милюкова о состоянии большевизма обозначено с полной ясностью. Это известная концепция эволюции большевизма.

Конечно, большевики, советская власть эволюционирует, т. е. эволюционирует, окружающая большевиков, советская власть, обстановка или среда, а большевики, как политическая сила, эволюционировать не могут. Это можно формулировать еще иначе: *политическая эволюция советской власти полицейски невозможна.*

Смысл развивающихся в России событий заключается именно в том, что коммунистическая партия, властвующая над Россией, *оставаясь сама собой*, допускает иногда уступки, чтобы этой ценой сохранить себя в неприкосновенности во главе России».

В январе 1927 года Струве возвращается к теме советской эволюции: «Каков бы ни был ход экономической эволюции, — пишет он, — какие бы уступки советская власть ни делала в области экономической, — этой эволюции и этим уступкам неотвратимо поставлены и всегда будут поставлены определенные *политические границы*. Ни из какой экономической эволюции не может вытечь непосредственно политическое низвержение, ни политическая капитуляция советской коммунистической власти. Проблема освобождения страны от коммунистического гнета может быть разрешена только на путях *решительной* и самой реальной политической, т. е. контр-революционной, борьбы с советской властью.

В мае 1927 года Струве снова говорит о советской эволюции, обращаясь на этот раз уже к иностранцам:

«Наша точка зрения непримиримых русских и белых противников большевизма, поскольку мы обращаемся к западу, сводится к весьма простым и для нас непосредственным мыслям. Так называемый «русский вопрос» есть вопрос мировой по существу, и мы вовсе не притязаем на то, чтобы иностранцы (англичане, немцы, французы и т. д.) боролись с большевизмом ради нас — русских. Мы им говорим, повторяем, твердим и опять повторяем: ваше дело, ваше бытие, ваши интересы поставлены на карту.

Это, во-первых, а, во-вторых, допустим на одну минуту вместе с вами, что советская власть способна эволюционировать и тем сама собою обезвредится. На это мы всегда отвечаем иностранным оптимистам: вашими устами да мед пить! Ибо, чем больше будет эволюционировать большевизм, тем реальнее, неотвратимее, беспощаднее будет к нему приближаться революция или, что то же — контр-революция.

Мы, русские контр-революционеры, или что то же — революционеры, можем только просить всех консерваторов, либералов, радикалов всего мира содействовать эволюции большевизма. Ибо для нас ясно, что эта эволюция, если бы она — на беду — не была величайшей и глупейшей утопией, — скорейшим путем привела бы нас, непримиримых русских врагов большевизма, к победоносной революции против него.

К сожалению большевики это понимают так же хорошо, как и мы. И потому они не эволюционируют и не могут эволюционировать! А не эволюционируя, они вынуждены лишь менять тактику мировой революции, но от этой идеи и утопии они не могут отказаться.

В тисках немогущего эволюционировать большевизма и бьется Россия. Поскольку же сама Россия развивается даже под ярмом коммунизма, она развивает энергию против него. Всякий, знакомый с реальными условиями экономической и политической жизни и борьбы в России, хорошо знает, что *контр-революционные возможности в России развивались прямопропорционально осуществлению и разворачиванию так называемого «Нэпа»*. Простачкам из иностранцев, поучающим нас, белых русских, на тему об эволюции большевизма, мы должны поведать, что нежелание советской власти смело идти в направлении продолжения и завершения Нэпа — диктовалось и диктуется вовсе не верностью этой власти идеалам коммунизма, а совершенно ясным сознанием полицейски-технической опасности для коммунистической власти широкого развития экономической жизни. Диктатура коммунистической партии, в условиях широкого и богатого развития экономической жизни, просто полицейски-технически неосуществима».

Я намеренно сделал довольно пространные выписки из всего сказанного Струве на тему о советской эволюции, ибо невозможно лучше и точнее «Возрождения» формулировать причины, по которым большевизм не эволюционировал, не эволюционирует и никогда не будет эволюционировать. Теперь, по истечении тридцатилетнего срока, стоит сравнить все написанное на эту тему «Возрождением» с утверждениями и домыслами иностранной и левой эмигрантской печати. А ведь бывший редактор «Последних Новостей», престарелый, но все же не поумневший Милюков, и во дни оккупации, перед самой своей смертью, продолжал упорно твердить одно: «Большевизм меняется, эволюционирует, покоряясь законам эгалитарно-демократического прогресса». Если до второй мировой войны упорство редактора «Последних Новостей»

казалось непонятым или недобросовестным, продиктованным какими-то безвестными международными силами, то во время войны и оккупации стойкость Милюкова обнаружила его ничем не прикрытую, выражаясь сдержанно, ограниченность. Так иногда усиленно ломаем мы головы над каким-нибудь жизненным явлением, кажущимся нам почему-то сложным и таинственным, а потом вдруг обнаруживается, что ларчик открывался просто, обидно просто для нашего самолюбия.

Да, если бы русские люди, проживающие за границей, своевременно прислушались к тому, что говорилось в «Возрождении», то по окончании второй мировой войны было бы выбрано ими неизмеримо меньшее количество советских паспортов, а почтительные визиты в полпредства видных церковных и светских эмигрантов, вероятнее всего, совсем не состоялись бы! И по какому праву, после этих паспортов и визитов судим мы иностранцев за их слепоту и глухоту ко всему происходящему в мире, околованном советской пропагандой? Винить иностранных политиков за их упорное нежелание и неумение понять сущность большевизма могут только эмигрантские круги, бывшие и оставшиеся верными политическим воззрениям, высказанным в прежнее время «Возрождением». Из всех печатных органов, русских и иностранных, выходивших в свет за последнее 30-летие, только одно «Возрождение» трезво и реально оценивало мировые события и часто задолго предсказывало неминуемость тех или иных политических поворотов и переворотов. Так, например, еще в июле 1925 г. Струве писал в «Возрождении» о китайских делах, волнующих теперь и Европу, и Америку:

«Горе в том, что китайский национализм как-то постепенно сплавляется в одно нераздельное целое с явлениями чужеродного Китаю мира, с ввезенным из Совдепии коммунизмом.

Китай тем самым сходит на положение пассивных масс, из которых иноземные силы лепят смертоносное сооружение для разгрома европейских культур. Если красной России удастся организовать красный Китай, то свержение больше-

визма в России не означало бы разгрома коммунизма, а только отступление коммунизма на тыловые азиатские позиции. Непонимание китайской проблемы будет рано или поздно оплачено европейцами чрезвычайно дорогой ценой». (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

В январе 1927 года Струве, обсуждая речь Сталина о китайских делах, снова пишет о смуте, происходящей в Китае:

«Большевизм есть мировая болезнь, мировое зло... большевизм есть навязчивая идея хозяйственного преобразования общества, осуществляемого непременно способом политического насилия... Россия есть лишь то место, где, в силу совпадения целого ряда исторических условий, захват власти большевиками и диктатура пролетариата осуществились раньше и легче, чем в других странах... Вся ставка большевиков на мировую социальную революцию. Поэтому они в таком восторге от азиатского вообще, и в особенности китайского пожара. Поэтому их так утешают экономические затруднения Англии. Все помыслы большевиков направлены на то, чтобы раздувать очаги всех и всяческих революций... Америка и Англия сами создали нынешнее положение вещей своей неустойчивой политикой, своим неумением принять меры против большевизма, своим стремлением сговориться с китайскими коммунистами. Рано или поздно, но все сроки будут пропущены, и выиграют одни большевики. (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

«...Когда русские простачки радуются успехам китайских коммунистов, потому что слепо ненавидят Англию, они так же маломысленны, как те твердокаменные, ограниченные англичане, которые призывают к борьбе с коммунизмом во имя борьбы с Россией. Все, кто колеблют и подрывают в человечестве идею мировой противокommунистической солидарности, совершают величайшее преступление».

А ровно через десять лет, в январе 1937-го года, показывая, насколько монолитными были всегда политические воззрения «Возрождения», Ю. Ф. Семенов писал о коммунизме и китайских делах:

«Коминтерн продолжает свою работу явно в Китае, скрытно повсюду, даже в странах, думающих будто они у себя истребили коммунизм. Коминтерн должен быть уничтожен в его кремлевском гнезде. Коминтерн побеждает только там, где с ним не борются, где с ним вступают в соглашения, где люди в гордыне, в уверенности своего культурного превосходства, надеются подчинить себе коммунизм, заставить его эволюционировать».

По сравнению с проявленной и все еще проявляемой всеобщей политической близорукостью, простые и трезвые слова Струве и Семенова, оценка «Возрождением» русских и мировых событий, воспринимаются нами, как настоящие предсказания. Но есть ли хоть какая-нибудь надежда теперь, когда все сроки кажутся безвозвратно пропущенными, что предупреждающие слова «Возрождения» будут, наконец, услышаны? Вот поистине роковой вопрос!

Но «Возрождение» не ограничивалось дальновидными обсуждениями изолированных политических явлений. Оно сосредоточивало внимание на главном, центральном, производило нужный отбор, нащупывало невралгические точки происходящих событий. Оно выделяло нужное и говорило о насущном. Верное понимание, постижение метафизических, религиозных основ государственности, позволяло ему разгадать, раскрывать и объяснять сущность политических событий и часто предугадывать их весьма отдаленные последствия. О чем, главным образом, говорило «Возрождение»? О русском большевизме, о все растущей опасности его распространения по всему свету, о китайской смуте, итальянском фашизме, немецком национал-социализме, о диктатуре Примо де Ривера, об испанской революции и диктатуре генерала Франко, о признаках начинающегося государственного упадка в Англии, о пагубности социалистических идей, о слепоте английских, американских и прочих государственных деятелей, преисполненных тупого самомнения.

Ныне, по истечении тридцатилетнего срока, достаточно перечитать преждевременно сданные в архив страницы «Воз-

рождения», чтобы многому научиться, многое понять в происходящем сегодня.

«Возрождение» умело извлечь из пестрой смены событий лишь то, что имело и до сих пор еще имеет важнейшее значение. Следуя примеру «Возрождения», попробуем и мы привести из него неумирающие цитаты, памятуя, что подчас иное скупое, но полновесное слово, краткое предупреждение, стоят целого тома доморощенных рассуждений.

6.

7.

В начале 1927-го года, как только появились в Англии первые признаки экономических и политических затруднений, ные все усиливающихся, Струве, заранее предвидя в какой тупик заведет эту страну ее социальный радикализм, писал в «Возрождении»:

«Трудности борьбы либерально-консервативной Англии с коммунистической советской Россией заключаются и будут заключаться не в социально-политическом бессилии английского парламентаризма, а в тех пагубных экономических переменах и психологических сдвигах, которые принесла с собою мировая война. Она страшно повысила требовательность низших слоев всего европейского человечества и в то же время — пусть временно, но зато весьма радикально — урезала его экономические возможности.

Против этих трудностей бессильна в известном смысле всякая политика, и уж во всяком случае не только бессильна, но и способна лишь расширить и углубить язвы политика социального радикализма. Когда хозяйственная жизнь расцветает, можно на почве этого расцвета позволять себе социальный радикализм. Разводить же такой радикализм на тощем народном хозяйственном организме, значит, — обольщая народные массы социально-политическим знахарством, только усиливать хозяйственное истощение».

Что же теперь, после второй мировой войны, сказало бы

«Возрождение» устами Струве, Семенова или Ольденбурга, при виде все растущих экономических и политических затруднений Англии, безмерно усиленных социальным радикализмом еще так недавно социалистического английского правительства? Вряд ли бы обрадовалось оно своей собственной прозорливости. Предвидя, какие страшные последствия будут иметь социалистические опыты в западно-европейских фашистских и демократических странах, Струве писал в «Возрождении» о социализме, синдикализме, экономической свободе, частной собственности и в связи со всем этим о судьбах фашизма:

«Да, конечно, экономическая свобода не есть какое-то абсолютное начало, и еще менее могут быть неподвижны, нестигаемы, те учреждения, в которых воплощается это начало. Но зная это, мы, и на опыте великой войны с ее «военным социализмом», и на опыте революций всех стран с их социалистическими увлечениями и чрезмерностями, познали всю огромную цену экономической свободы. Она не есть для нас ни абсолютный догмат, ни фетиш, но в то же время она, именно для наших поколений, стала неоспоримой и великой ценностью, за которую стоит и должно сражаться во всех смыслах.

«И то же — с собственностью, в подлинном смысле частной собственностью, завещанной нам римским правом. Собственность в этом смысле не есть для нас абсолют или идол. Но мы познали — и в этом отношении всего более показательным, убедительным, прожитым и пережитым, кровным является наш русский опыт — что *частная собственность и личная свобода неразделимы* и что тот, кто желает установления или сохранения свободы, не может не требовать утверждения или сохранения собственности. Социализм же, как идеология, как чувство, как настроение, весь был построен на *разъединении понятия и идеала свободы от понятия и идеала собственности*. В нашем сознании они теперь снова стали неразъединимы. Поскольку социализм означает просто государственное вмешательство в хозяйственную жизнь и социальные реформы, его сейчас никто вообще

не отрицает. Поскольку же социализм есть абсолютное и сплошное отрицание экономической свободы и враждебное идее собственности отвержение или отрицание ее реальных форм и воплощений, постольку социализм — мы это теперь на нашем историческом опыте познали — есть идея, разрушительно-реакционная, и с ней должна быть ведома решительная идейная и практическая борьба.

То, что сейчас называется *синдикализмом*, либо есть течение, законно во всех смыслах опирающееся на положительный и плодотворный, в известных пределах, факт профессиональной организации и организованности рабочих, либо он есть *наихудший вариант социализма суженного до чего-то принципиально не только классового, но и профессионального.*

В самом деле, если с некоторым правом можно отстаивать ограничения экономической свободы в интересах всего общественного целого, то их уж нельзя никоим образом оправдать интересами профессиональных групп или организаций, как таковых. Так, *железные дороги или копи нельзя превратить в «кормления» железнодорожников или горнорабочих».*

В переживаемые нами годы периодически и планомерно повторяющихся рабочих забастовок, всячески поддерживаемых и раздуваемых социалистическими теоретиками и пропагандистами, рассуждение Струве о социализме и синдикализме звучит поистине как пророчество.

«Наше время, — продолжает Струве, — есть, должно быть и не может не быть эпохой борьбы с социализмом. То, что наши отцы и деды сочувственно и несочувственно считали «социализмом», в значительной мере вошло в жизнь и его усвоено. Но дух отрицания экономической свободы и частной собственности, к счастью, еще не восторжествовал в мире. Наоборот, реально в экономической действительности этот дух опровергнут, разоблачен и даже — обесславлен. И его необходимо духовно, идейно, теоретически обезоружить и доканать. Нечего и говорить о том, что то, что говорится здесь о социализме, тем более применимо и к коммунизму.»

Как бы практически ни расходились настоящие, а не номинальные социалисты с коммунистами, они единого духа с ними».

Смысл заключительных подчеркнутых мною слов Струве, до сих пор все еще не укладывается в головах, как западно-европейских, так и русских левых людей. Несмотря на русский катастрофический опыт, они не могут усвоить простой и неопровержимой истины, гласящей: поскольку где-либо практически водворяется не номинальный, а настоящий социализм, ровно постольку осуществляется на земле голод, нищета и насилие, постольку теряет человек свою духовную личность.

По верному и глубокому утверждению Струве, всякое жизненное явление, приходя в соприкосновение с социализмом, никнет и духовно скудеет. Это, по словам Струве, ставшим основой «Возрождения», всецело применимо и к недавно пережитому западно-европейским миром фашизму. Вот что писал о фашизме в 1927 году первый редактор «Возрождения», как бы предвидел тогда еще не нарождавшийся немецкий национал-социализм:

«Фашизм лишь в той мере есть явление творческое, движущее вперед, не эпизодическое, в какой и он духовно порывает с социализмом. Поскольку же фашизм, где бы то ни было, в какой бы то ни было форме, в какой бы то ни было области будет духовно примыкать к социализму, он будет пролагать ему пути, делать социалистическое дело, то есть дело разложения и разрушения».

«У Муссолини, — мудро оговаривает Струве, — могут быть политические точки соприкосновения с социализмом. Духовно — он не только оторвался, но и решительно противопоставился социализму и его духовным источникам».

В самом деле, мы хорошо знали, что если погиб Муссолини, а с ним и его полезное, антисоциалистическое дело, то в этом повинен не он, а виновато роковое стечение международных обстоятельств, приведших итальянского вождя к ненавистному для него союзу с немецкими национал-социалистами. Но ведь и враждебные итальянскому фашизму запад-

но-европейские и американские демократии, в свою очередь, нанесли себе страшные раны своим военным союзом с кремлевскими социалистами. Только номинальная победа над Германией и Италией отсрочила для них на некоторое время смертоносную расплату за свершенный ими непоправимый грех.

«Как человек, — заканчивает Струве свое размышление о социализме, — прошедший через социализм, переживший его и в то же время изучавший социалистическую мысль в ее первоисточках, я чувствую себя прямо таки обязанным, в меру моих личных сил, участвовать в этой духовной борьбе.

Реакция против социализма есть самое современное и самое насущное явление и задание экономической мысли. В современности уже началось крушение социализма. Русский большевизм есть лишь наиболее красочный эпизод, самый разительный предметный урок, преподносимый всему миру полным глубочайшего смысла процессом разложения и крушения социализма».

Бесповоротное, решительное оттолкновение от подлинного социализма во всех его видах и проявлениях несколько, как мы уже видели, не мешало «Возрождению» учитывать все слабости европейских и американских буржуазных демократий, как бы утративших инстинкт самосохранения, политическое чутье, государственный разум, слепо идущих на всяческие компромиссы, нелепые, губительные соглашения и сделки с большевизмом, склонным, по их мнению, к благодатной эволюции. Темные заблуждения капиталистических стран заставляли «Возрождение» искать просвета в итальянском фашизме, видеть в нем в известной мере «крупное историческое явление», элементы здоровой реакции на большевизм. И все же «Возрождение» относилось к фашизму с недоверием, с опаской, различая его положительные качества, оно не закрывало глаз и на его тайные немощи. Недаром еще в 1927 году Струве, приветствуя режим Муссолини за твердое сопротивление коммунизму, с осторожностью оговаривается:

«Сильные и слабые стороны фашизма связаны с тем, что

он сам возник в недрах того направления, которое он в значительной мере отрицает, в недрах социализма, принципиально неотличимого от коммунизма. Это придает фашизму жизненность и подлинность: фашизм вышел из переживания и преодоления социализма. Но этим обуславливается и то, что есть на фашизме как бы еще скорлупа того социалистического яйца, из которого он вылупился, и притом — скорлупа не только словесная, но и идейная. Пожалуй, даже еще больше: скорлупа чувств и настроений».

Нам ли, свидетелям роста и крушения немецкого национал-социализма, не оценить удивительной политической дальновидности «Возрождения». Ведь если итальянский фашизм, благодаря ясному правовому уму своего вождя, успешно преодолевал в себе унаследованные им от социализма чувства и настроения, то немецкий национал-социализм пошел иным путем, всячески развивая в себе социалистические навыки и эмоции. Немецкий национал-социализм обнаружил на практике все слабости фашизма, заранее известные «Возрождению». Разбираясь в существовании итальянского фашизма, Струве умолчал о его главной слабости, о его неоязыческой безрелигиозности, грозящей превратиться в полное, последовательное безбожие. Именно этого остерегалось «Возрождение» в фашизме и потому с первых же дней своего существования возлагало всю надежду на испанскую диктатуру, сначала Прима де Ривера, потом генерала Франко, всецело и безоговорочно опирающуюся на христианскую церковь. Здесь Струве, Ольденбург и Семенов проявили по очереди прямотаки поразительную политическую прозорливость. Вот что писал Струве об испанской диктатуре в сентябре 1926-го года.

«По своему внутреннему содержанию — это классический случай принципиальной временной диктатуры, облакаемой полнотой власти для обеспечения успешной борьбы с грозящими государству разрушительными силами. Но не надо забывать, что этот переворот был покрыт авторитетом монарха. Когда испанские радикалы стараются обвинить короля в соучастии провозглашения диктатуры, они только вскры-

вают *внутреннюю законность* этого акта... Но революция в Испании еще не предотвращена».

Через девять лет опасения Струве оправдались: в Испании вспыхнула революция, а еще через год разгорелась гражданская война, началось впервые в мире долгожданное сопротивление Коминтерну, приведшее к установлению в Мадриде диктатуры генерала Франко.

С каким напряжением следили возрожденцы за развитием военных действий в Испании! Каждый день, рукою милостивого Сергея Сергеевича Ольденбурга, переставлялись булавки, передвигалась извилистая нить на географической карте вывешенной в редакции. С замиранием сердца следили мы за продвижением дорогих и близких нам белых испанских войск. Мы как бы заново переживали тогда дни нашей собственной борьбы с большевиками.

Здесь уместо настойчиво подчеркнуть, что все решительно политические мировые события воспринимались и рассматривались «Возрождением» лишь с точки зрения российских национальных интересов. Всех, вступавших в борьбу с Коминтерном, «Возрождение» считало друзьями России и всякое соглашение с большевиками, кем бы то ни было заключенное, оно принимало, как враждебное действие, направленное против нашего отечества. Все враги красных кремлевских властителей были друзьями «Возрождения» и все, заключавшие торговые сделки или военные союзы с большевиками, становились для него, понятно, врагами. Иного отношения ко всему происходящему в мире коренные возрожденцы не ведали, да и не могли бы себе разрешить. Так, когда в 1939 году, перед началом войны, правительство Гитлера подписало некое подобие торгового и военного союза с большевиками, «Возрождение» круто, на мой личный взгляд чрезмерно круто, повернулось спиной к Германии, не предвидя и даже не желая предвидеть изменений, могущих произойти в германской политике, и вскоре действительно происшедших. В памятные дни 1941 года, когда Германия объявила войну Советам, положение «Возрождения» могло бы стать более, чем трудным. Выручила нас тогда лишь грубая прямолинейность

немцев, прихлопнувших задолго до того всякую более или менее независимую печать в оккупированных ими странах. Впрочем, благодарное чувство к Франции, гостеприимно приютившей русских эмигрантов, заставило бы «Возрождение» в годы оккупации молчать на политические темы, или высказываться крайне скупно и осторожно. Но вряд ли осудило бы оно русских эмигрантов, так или иначе содействовавших немцам в их борьбе с большевиками. Что же касается влассовского движения, то «Возрождение» несомненно и всецело приветствовало бы его.

Зарубежные русские люди, подлинно национально настроенные, живущие преданиями исторической России, и живущие ее духом, всегда одобряли и будут одобрять политику любого государства, вредящего большевикам, ибо всякий вред, наносимый советской власти, прямо или косвенно содействует воскресению Российской Империи. Так рассуждало «Возрождение», и политика им проводившаяся, неизменно руководствовалась этим лозунгом. Эта формула настолько владела «Возрождением», что подчас, опять-таки на мой личный взгляд, его суждения о политических мерах, принимавшихся тем или иным государством по отношению к Совдепии, лишались гибкости, были слишком темпераментны, страстны. Ведь одно — верно предвидеть что-либо, другое — умело воспользоваться собственным осуществившимся предвидением. Интуитивным даром «Возрождение» обладало с избытком, но умение расчетливо пользоваться в своих целях политически враждебным явлением, иногда, по горячности, ему изменяло. Уж слишком было оно общественно честным, религиозно глубоким, чтобы хитро мириться с каверзами бесстыдной и скользкой западно-европейской политики. Зато и было же оно монолитным, цельным, твердым, органичным.

Юлий Федорович Семенов, сменивший П. Б. Струве на редакторском посту, с неуклонной мудростью продолжал выращивать семена государственных идей, посеянных его предшественником в умах и сердцах многочисленных эмигрантов, оставшихся верными великому прошлому России. Он с редким упрямством и упорством, но и с редким умением, раз-

вивал те же мысли, проводил ту же политику, и как редактор, как администратор, оказался одареннее, тактичнее, внимательнее, справедливее и свободнее Струве. Лично он, конечно, не был ни выдающимся оригинальным мыслителем, ни писателем, ни даже блестящим журналистом, но как редактор, он обладал исключительным умением группировать вокруг себя нужных сотрудников, сливать их в единую духовную семью и тайно, невидимо и неслышно влиять на них, побуждая трудиться и выражать насущное, заветное.

Справедливо говорит В. Даватц в своей брошюре «Правда о Струве», изданной в 1934 году в Белграде, что «Возрождение» навсегда «сохранило то направление и тот характер, который придал ему его первый редактор». Эти слова надо запомнить, ибо в них ключ к верному пониманию «Возрождения». Они тем более веско звучат, что были опубликованы бесспорно с ведома и одобрения Струве. В них содержится полное подтверждение настойчиво проводимой нами мысли о монолитности, органичности «Возрождения». Заслуга Семенова, как редактора, в том и состоит, что он сумел вырастить идейные семена, посеянные Струве. Причем он выращивал их не сам, или вернее, не единолично, как Струве, а при помощи им организованной силы, дружным соборным устремлением сотрудников, им руководимым. Как редактор, Семенов был подлинным преемником государственных и политических идей, положенных Струве в основу «Возрождения». И тень Константина Леонтьева, вызванная Струве, продолжала и при Семенове витать над «Возрождением», по-прежнему одухотворяя его, определяя и направляя его сочувствия и несочувствия. От этого пребывало оно неизменно цельным.

8.

Сам Семенов, говоря о пути пройденном «Возрождением» за десять лет его существования, как бы гордится своей преданностью идеям и мыслям, впервые намеченным Струве. Он справедливо гордится тем, что не пришлось «Воз-

рождению» сворачивать с однажды избранной дороги, искать иного русла, изменять основам своей политики. В самом деле, эта политика не нуждалась в изменениях, ибо исходила из органического постижения жизни, из понимания тайных законов государственности. Можно сказать, что религиозное мировосприятие «Возрождения» продолжало его явные деяния, его конкретную трезвую, реальную политику, неизменно последовательную, монолитную.

«Возрождение» начало издаваться в дни, когда в Совдепии развивался так называемый НЭП. Тогда большевики как будто отступали под натиском возненавидевшего их населения. Зиновьев звал коммунистическую партию повернуться «лицом к деревне», Бухарин хвалил «кулака» и предлагал всем обогащаться. Образовался класс нэпманов, соривших деньгами, успевший соблазнить многих русских эмигрантов, уверовавших в якобы начавшуюся буржуазную эволюцию советской власти. «Возрождению» пришлось неотступно, в течение долгих лет, бороться с этой вредносной теорией.

Со всех сторон призывали «Возрождение» к «засыпанию рвов», упрекали в нежелании считаться с фактами, в узости, в ослеплении ненавистью. Эмигранты, уверовавшие в эволюцию советской власти, поддерживали в иностранцах через посредство «Последних Новостей», стремление стовариваться с большевиками. Русские простачки радовались, когда европейцы и американцы открывали кредиты советской власти, ликовали в наивной надежде на то, что часть денег, выданных красному Кремлю, пойдет народу, улучшить его благосостояние.

И вот, поддержанные иностранцами, большевики окрепли и снова перешли в наступление, снова объявили войну русскому народу. Пятилетки, колхозы, раскулачивание, массовые ссылки крестьян, расстрелы, голод, людоедство, миллионы голодных смертей... «Возрождению» пришлось в период пятилеток доказывать многим и многим эмигрантам, что их надежды на организованные большевиками колхозы ни на чем не основаны. Эмигрантская левая печать на все лады внушала нам, что в колхозах нарождается новый чело-

век и что на него-то и надо равняться, ему подражать. Однако, выстрел Николаева прекратил все эти восторги и показал насколько право было «Возрождение», проповедуя непримиримость до конца. Убийство Кирова обнаружило, что в коммунистической партии, и даже в самом окружении Сталина, не так то уж все согласованно и дружно идет к единой цели, как это полагали некоторые наивные эмигранты и чересчур доверчивые иностранцы.

«Возрождение» упорно твердило и доказывало, что зарубежные русские люди не должны, да и не могут, равняться ни на крестьянство, ни на комсомольцев, ни на красную армию, что эмиграция должна сохранять свое лицо, опираясь на церковь, пребывая верной традициям и устоям, выработанным веками, российской историей.

Оставаясь самим собой, не гоняясь за преходящими настроениями в Совдепии, но тщательно их изучая, «Возрождение» идеологически сближалось с тамошними русскими людьми, исцелевшими от революционного угара, не повторявшими, подобно левой эмигрантской печати, что советская власть «все-таки наша».

Тем временем менялась внешняя обстановка, окружавшая деятельность «Возрождения» в начальные дни его существования. Не стало Великого Князя Николая Николаевича, генерала Врангеля и Кутепова, имена которых связывали эмиграцию в глазах иностранцев с Россией, с ее великой армией времен войны, белым движением, Константинополем и Галлиполи. Зарубежные русские превращались для иностранцев в беспокойную, назойливую разновидность человеческого рода, находящуюся в неформальном ведении Лиги Наций, увеличивающую повсюду кадры безработных.

«Возрождение» наблюдало, как страны Европы и Америки проходили через период хозяйственного расцвета и тяжелых кризисов, как в Азии после бурного революционного брожения, вызванного и поддержанного большевиками, временно настал порядок, водворенный Японией. В зависимости от событий происходящих в Европе, Америке и Азии, менялись повсюду условия эмигрантской жизни; резко менялись и ус-

ловия, в которых проходила работа «Возрождения», но ничто не могло поколебать его контр-революционной, анти-большевицкой идеологии. Менялись только его расположения и нерасположения к государствам, в зависимости от их отношений к советской власти. Так, когда в конце 20-х годов обозначилась тесная дружба Германии с большевиками, «Возрождение» очутилось в лагере защитников Версальского договора и крайне резко критиковало и осуждало немецкую политику. Когда же немецкие творцы этой самой политики, изгнанные из Германии, воспользовались гостеприимством стран, дружественных Версальскому договору, то «Возрождение» не стало от этого к ним благосклоннее: верное своей основной задаче борьбы с большевизмом, оно не замедлило показать свое сочувствие новому германскому правительству, занявшему позицию, враждебную мировому коммунизму. Официальные французские власти не могли, конечно, одобрить такой непоколебимости «Возрождения», и их отношение к нему стало похожим на германское до 1932 года. Но ничто не в силах было поколебать решимость «Возрождения» и оно продолжало быть духовной опорой для всех подлинных русских патриотов, ставящих благо России превыше всего.

«Возрождение» знало, что рано или поздно, в тех или иных условиях, восторжествует в России и в мире элементарная государственная правда и что русская эмиграция, или хотя бы только ее символ, будет способствовать восстановлению этой правды. «Возрождение» отметило и навсегда запомнило знаменательные слова советского сановника, однажды проговорившегося: «Шпана из «Возрождения» нам не страшна; она опасна нам лишь в случае, если у нас будет война с Европой. Эмиграция может тогда стать авангардом и придать общей войне характер гражданской войны».

Если бы национал-социалистическая Германия учла в свое время справедливость подобного рода заявлений, она несомненно и легко оказалась бы победительницей. Но национал-социалистическая Германия была неспособна учесть в свое время справедливость подобного рода признаний и, по заслугам, оказалась побежденной. К величайшему прискор-

бию, Европа и Америка не понимали, да и теперь все еще не понимают, ни значения русской эмиграции, ни того, что происходит в России. К российской трагедии мир остался глух и слеп. Ни одна страна, за исключением Японии, не прислушивалась к голосу эмигрантской национальной печати.

«К стыду Европы — писал Абданк-Коссовский в своей статье, посвященной десятилетнему юбилею «Возрождения», — японцы лучше поняли страдания русского народа и ту мировую опасность, которую несет с собой большевизм, и о которой наша газета твердила в течение десяти лет. Не наша вина, если принципиальные убийцы и палачи за это время стали в цивилизованной Европе и в Америке, героями дня, желанными гостями, союзниками, друзьями, кумирами, перед которыми склонились самые просвещенные правители самых культурных стран».

«Японцы, — продолжает Абданк-Коссовский, — привлекли симпатии русских тем оправдательным приговором, который был вынесен японским судом русскому юноше Ярохину, покушавшемуся на советского представителя в Японии. Судебный процесс имел вид триумфа, устроенного Ярохину японской общественностью и властями. Японские мальчишки-гимназисты были приведены в суд слушать дело Ярохина, чтобы поучиться у русского юноши истинному патриотизму. Японские адвокаты явились в суд *in cogrore*, а председатель суда так напутствовал подсудимого: «Я сочувствую вам. Я уверен, что из вас выйдет великий человек, который выступит на благо своего народа и своей страны».

Подводя итоги десятилетней деятельности «Возрождения», Абданк-Коссовский добавляет: «Борьба советской власти с эмиграцией бесполезна, эмиграция неистребима, и «Возрождение», выражающее мнение русских зарубежных людей, никогда духовно не отрывалось и от тех, кто бежал «оттуда». «Возрождение» всегда братски сливалось с ними и находило с ними общий язык — язык любви к России и ненависти к большевикам. Черты, отделяющей Россию в изгнании от России, плененной большевиками, не существует. Но «Возрождение» никогда не смешивало истинного патри-

тизма с так называемым «советским патриотизмом», которым всегда пользовались в своих целях вожди III-го Интернационала».

Заключительные слова Абданка-Коссовского показывают, что еще задолго до второй мировой войны и ее последствий, столь тяжелых для русской эмиграции, предвидело «Возрождение», до какого убожества доведет многих из нас пропаганда советского патриотизма, предпринятая «Последними Новостями», евразийцами и младороссами. Именно в противовес этой тлетворной пропаганде, демонстративно поощряло и одобряло «Возрождение» отважные деяния Конради, Коверды и Ярохина. Вся деятельность возрожденцев была направлена на то, чтобы сохранить дух подлинного патриотизма в эмиграции, вернее в Зарубежной России, созданной великим исходом начатым русскими людьми в 1920 году и непрерывно продолжающимся до сих пор. Не к эмиграции, а к Зарубежной России обращалось «Возрождение», и прежде, чем проповедовать новую идеологию, все силы обращало оно на то, чтобы самому познать и затем в меру своих способностей разъяснить другим, национальное и, следовательно, религиозное значение российского исхода и зловещий смысл свершившейся в России и грозящей всему миру подмены всех духовных ценностей.

С первых же дней своего существования «Возрождение» старалось установить правильное понимание самого существа коммунистической власти, подменившей все, веками накопленные, духовные ценности и вызвавшей поныне продолжающийся российский исход.

Как же понимало «Возрождение» существо советской власти и в чем видело оно значение и предназначение Зарубежной России?

9.

В апреле 1926 года, на Зарубежном Съезде, состоявшемся в Париже, были заслушаны доклады Ю. Ф. Семенова и С. С. Ольденбурга. Мы постараемся сейчас, насколько воз-

можно кратко, изложить содержание этих двух докладов, развивших и дополнивших мысли П. Б. Струве о сущности большевизма и о духовном назначении русской эмиграции. Даже очень сжатое изложение, скупой конспект этих докладов, приблизит нас к пониманию некоторых основных положений «Возрождения».

В чем же сущность коммунистической власти? Этот вопрос представлял для «Возрождения» отнюдь не только теоретический интерес. От правильной постановки этого вопроса зависело для Ольденбурга и других возрожденцев сознательное отношение ко всему происходящему в России, и во всем мире.

Свой доклад Ольденбург начинает с примеров, взятых им из истории.

Когда во Франции, после войны 1870-1871 г., судили маршала Базена, сдавшего Metz и рейнскую армию немцам, обвиняемый оправдывался тем, что во Франции в то время не оставалось законной власти, перед которой он был бы ответственен.

«Император был в плену, императрица бежала в Англию, законодательный корпус был разогнан, что же оставалось делать?» И тогда герцог Омальский, председатель военного суда и член династии Бурбонов, ответил маршалу Базену:

— Сударь, оставалась Франция!

В Мадриде, в королевском дворце, сидит Иосиф Бонапарт, называемый королем Испании. От его имени творится суд и издаются законы. И, однако, испанцы ведут жестокую, непримиримую борьбу с ним и с теми, кто его поддерживает; испанцы приветствуют, как избавительницу, английскую армию, вступающую на испанскую территорию. Они видят в англичанах друзей и союзников, а не завоевателей.

В Бельгии правит германский генерал-губернатор фон Биссинг. Он в течение нескольких лет является фактическим распорядителем судеб бельгийского народа, и все бельгийские учреждения, местные самоуправления, университеты, церковные власти должны поддерживать с ним постоянные

сношения. И, однако, ни на минуту бельгийцы не считают фон Биссинга своим законным правителем.

Во всех трех случаях проявлялось здоровое национальное чувство. От того, есть ли данная власть своя или чужая, зависит и отношение к ней.

Что же такое для России нынешняя коммунистическая власть?

Никогда и ни при каких условиях интересы России и поработившего ее Интернационала не могут почитаться тождественными. То, что укрепляет Интернационал, отдаляет спасение России, и то, что ослабляет Интернационал — приближает ее спасение.

Отношение к советской власти, как к плохому, но русскому правительству означает непонимание ее существа, и отношение русских к Интернационалу следует сравнивать не с отношением герцога Омальского к правительству национальной обороны, но с тем, как испанцы относились к связанному им Иосифу Бонапарту, или бельгийцы к германскому генерал-губернатору. Но ни Иосиф Бонапарт, ни генерал фон Биссинг не достигали, конечно, даже и в малой доле, той зловредности, воплощением которой является господствующая над Россией коммунистическая советская власть.

Составные части нынешней мировой коммунистической партии формировались в расплывчатых пределах социалистических партий II-го Интернационала. Война 1914-1918 г. поставила эти партии перед вопросом: что существеннее — идейно-политическая (на социалистическом жаргоне — классовая) солидарность, или же солидарность общенациональная. Ответ партий был один: национальная, и на время войны II-й Интернационал отошел как бы в небытие. Но во всех социалистических партиях, и более всего среди русских социалистов, за долгие годы их заграничного существования совсем оторвавшихся от собственной родины, нашлись люди, для которых учение о классовой борьбе и международной солидарности «пролетариев» (фактически — левых социалистов) было неизмеримо важнее национального чувства, у них атрофированного.

Некоторые наиболее зоркие главари социалистического течения сразу угадали, что мировой войной можно воспользоваться для революционных дел. Они задались целью превратить империалистическую войну в гражданскую.

Все помнят ход русской революции. Народные толпы, желавшие мира, бессильная временная власть, презренная, лишенная энергии и инициативы, неумевшая ни вести, ни кончить войну... Таким положением воспользовались представители международной социалистической секты, имевшие большие связи в русских революционных кругах. При благосклонном содействии германских властей, полагавших в своем ослеплении, что мировая разрушительная сила, пущенная в действие, остановится у границ их страны, будущие руководители III-го Интернационала проникли на нашу родину.

Советы и съезды Советов были только внешней формой для установления господства коммунистической партии, но своим воззрениям последовательно интернациональной. Эта партия всегда считала и будет считать, что не только религия, но и все вообще национальное есть нечто, подлежащее преодолению. Для нее государства представляются случайными, уродливыми объединениями людей, подлежащими растворению в единой мировой и интернациональной государственности.

Для руководителей коммунистического международного движения, понятия Родины и Нации не существует и никогда существовать не будет.

Может ли власть, на монопольных началах принадлежащая к интернациональной коммунистической секте, почитаться за национальное правительство в каком бы то ни было государстве?

Такая власть будет всегда рассматривать территорию, над которой она господствует, только как временный опорный пункт.

Мировая коммунистическая партия, наиболее организованной и влиятельной частью которой сейчас являются коммунисты, собравшиеся на территории бывшей Российской

Империи, есть в отношении России *внешняя сила*, а не русское национальное (хотя бы и скверное, жестокое, варварское) правительство.

Коммунистическая интернациональная партия, захватившая власть в любом государстве, пребудет всегда по отношению к нему внешней силой. Не понимать, не видеть, не слышать этого, после русского опыта, могут только добровольно слепые и глухие.

Советская власть (псевдоним диктатуры коммунистов) упразднила самое имя «Россия»; она разбила Союз Советских Социалистических Республик на штаты, в которых искусственно культивируются местные наречия и вытравливается прежняя российская общегосударственная спайка. Этим большевики преследуют двоякую цель: уничтожение русской национальной государственности, традиции которой ей глубоко ненавистны, и привлечение симпатий некоторых слоев населения. *Противоречие интернационализма и «выраживания» мелких народностей* — только кажущееся: малые народности не могут подняться до сильной национальной государственности, которая могла бы стать опасной интернациональному центру, и потому «несознательным элементам» позволяют тешиться собственными наречиями, как игрушкой. Коммунистическая власть почитает одной из своих задач не оставить от былой России камня на камне, сдать самую память о ней в музеи и архивы.

Власть антинациональной секты для России губительна и отвратна. Коммунистическое иго внешне менее заметно, чем скажем, иго татарское, ибо коммунист говорит на том же языке, и сопротивление вызванному большевиками разложению требует большей сознательности, нежели противодействие простому иноземному засилию.

Если коммунистическая власть, по своему существу, по своему замыслу, не может считаться национальным правительством, может ли она им стать со временем путем «перерождения центра». Иными словами, возможно ли то, что называется «эволюцией большевизма»?

Суть данного вопроса в том, изменяется ли *направление*

воли коммунистической власти, или же она делает только внешние уступки необходимости, с твердым намерением взять их обратно при более благоприятных условиях. Внешние уступки никак нельзя назвать «эволюцией» советской власти.

Между тем, все заявления коммунистических главарей свидетельствуют о том, что *направление воли властителей красной Москвы остается прежним.*

Но, кроме идейной твердокаменности интернационально-коммунистических верхов, от эволюции предохраняет большевиков *простой инстинкт самосохранения.* Без идейной спайки, без притока сил извне, большевицкая партия рискует *потерять себя, утратить то единство воли, которое дает ей господство над огромной враждебной российской стихией.* Утратив веру коммунисты утратили бы и *власть.*

Мировая коммунистическая партия, называющая себя III-м Интернационалом, стремится к мировому господству. Она желает стать международной олигархией и всюду, как в советской России, осуществить свою диктатуру от имени «*трудящихся масс*». Для этой цели она стремится укреплять свою базу, развивать свою организацию, разлагать противников и находить попутчиков.

Работы над осуществлением некоторых из этих задач имеют внешнее сходство с национальной политикой нормального государства. Стремление расширить пределы своего господства и присоединить к себе одну страну за другой можно условно назвать *красным империализмом.* Это, несомненно, самый алчный из всех империализмов, так как он имеет своим объектом — всю землю.

В первую очередь, по линии наименьшего сопротивления, он обращается на территории, входившие в состав Российской Империи. Поэтому *возникло нелепое, в корне ложное представление, что будто большевики воссоединяют Россию, защищают русские национальные интересы, когда, например, заявляют притязания на Бессарабию, Сахалин и т. д.* Но подпадение той или иной бывшей русской провинции под власть III-го Интернационала отнюдь не означает ее присоединения

к России. Включение Бессарабии в состав «Молдавской советской республики», рассчитанное на дальнейшее продвижение в пределы Румынии, ни в какой мере не могло бы считаться русской национальной победой. Но большевики искусно улавливают попутчиков, внушая всем, что они защищают интересы России — той самой, которую они так планомерно разрушают.

Успехи Союза Советских Социалистических Республик — III-го Интернационала — мировой коммунистической партии — успехи не России, а злейших ее врагов.

По своей интернациональной природе коммунистическая власть угрожает *всем государствам*, и только временно сосредоточивает усилия то на тех, то на других, стремясь найти себе попутчиков в лице врагов той или иной страны. Поэтому такую тревогою исполняется III-й Интернационал, когда среди других держав намечаются мирные способы разрешения противоречий. Франко-германский антагонизм был всегда крупным козырем в коммунистической игре.

Владея ресурсами большой страны, мировая коммунистическая партия имеет возможности, о которых доселе не могла мечтать никакая революционная организация. Дипломатическая неприкосновенность, многомиллионные фонды, унаследованные от прошлого, готовые убежища для бунтарей всех стран — какая невиданная, какая угрожающая картина!

Мировая коммунистическая партия является международной опасностью, международным злом, в борьбе с которым в первую очередь, конечно, заинтересована Россия, но борьба эта едва ли менее существенна и для других государств.

Борьба с советской властью не есть борьба с Россией, а, наоборот, борьба с ее злейшим врагом. Сопротивление международному злу должно вестись в международной плоскости.

Вот в высшей степени краткая сводка того, что думало «Возрождение» о существовании коммунистической советской власти. Ныне, по прошествии тридцатилетнего срока, политиче-

ские мнения, высказанные «Возрождением», не только не устарели, но стали еще более угрожающе злободневными. Страны Европы и Америки по-прежнему не хотят считаться с мнением национальной части русской эмиграции, истинным выразителем которого и было, своевременно не услышанное иностранцами, «Возрождение». А между тем, оно говорило, оно кричало, оно пыталось доказать и показать всем, что русская эмиграция совсем не безымянное беженство, не безликое сборище апатридов, живущее скудными милостынями Лиги Наций, а подлинная, духовная существующая национальная Россия, силою обстоятельств перенесенная за собственные территориальные границы, но не ставшая от этого менее реальной величиною. Русская эмиграция, — внушало всем «Возрождение», — есть фактически не что иное, как Зарубежная Россия, с которой рано или поздно надо будет считаться, к которой рано или поздно, надо будет обратиться за советом — как разрешить, по-видимому, неразрешимую, российскую, а следовательно и мировую, задачу.

Необходимо, наконец, всем понять и запомнить, что кажущееся ничтожным русское «беженство», русское «расеяние», на самом деле представляет собою великую энергию, невидимо, но от этого не менее реально, сочетающуюся с энергией, накопленной *внутренней* эмиграцией за долгие годы ее сидения в советских тюрьмах и лагерях.

Всем давно пора бы знать и навсегда запомнить неопроверженную истину: *на задворках жизни, в ее забытых закоулках, вырастают силы, меняющие судьбы мира.*

Настанет день, и загнанный на задворки мировыми дипломатическими умниками, русский беженец окажется «гвоздем сезона», «ведеттой», спасителем от мировых коммунистических бед и зол.

Но что же такое представляла и представляет собою русская эмиграция? Мы приведем сейчас крайне сжатое изложение всего сказанного на эту тему Ю. Ф. Семеновым, говорившим от лица «Возрождения» на Зарубежном Съезде в 1926 году. Ныне, спустя тридцать лет, слова Семенова не только не потеряли своего значения, но, в связи с происходя-

щими и заново назревающими событиями, стали еще более существенными, важными, злободневными.

10.

Что же, по мнению Семенова, по мнению всего «Возрождения» в целом, представляла и представляет собою русская эмиграция? «Она составила из очень разнообразных элементов. Часть русской эмиграции не имела вначале никакой политической физиономии, она покинула Россию заранее, в предвидении грядущих бед. Затем шли беженцы, вытолкнутые из России уже в борьбе с большевиками. В общей сложности эмигрировало нас до полутора миллиона людей, самых разнообразных классов и профессий, людей, принадлежащих к наиболее культурным слоям населения России.

В первое время мы были всего лишь беженской массой, вынесшей с собою паническое настроение, страх за будущее и сплошное горе, испытанное в прошлом. Все поневоле рассчитывали на чужую благотворительность. Но постепенно совершился переход на трудовое положение, произошло расселение по всем странам земного шара. Переход на трудовое положение был в то же время и переходом из собственного беженского состояния в состояние политической эмиграции, ибо те русские люди, которые не захотели вернуться в Советскую Россию, не захотели признать над собою большевицкого ига, предпочитая тяжелый труд и несправедливость на чужбине, тем самым совершили политический акт протеста против господства III-го Интернационала в России.

В то же время происходило постепенное собирание эмигрантов в мелкие и крупные сообщества. Создавались организации церковно-приходские, бытовые, профессиональные, сословные, классовые, академические, политические.

Таким образом, из вчерашних беженцев образовалась совершенно особая «народность», разбросанная по разным странам, не имеющая своей территории, но спаянная внутренней, духовной спайкой; несправедливая по отношению к стра-

нам, в которых она живет, но выработавшая какое-то свое новое право, не управляемая никем и ничем, но имеющая внутри себя какие-то органы управления, ни от кого не зависящие и никем не назначенные, но в известной мере признаваемые и внутри, и во вне.

Эта организованная народность стала создавать свои школы—низшие, средние и высшие, свои церковные приходы, свои газеты, книжные издательства, театры, промышленные предприятия, общественные и политические организации. Она участвовала в некоторых странах, как, например, на Балканах, в создании местной культурной жизни и подавала свой голос на различных международных конференциях, хотя никто ее на эти конференции не приглашал.

Во внутренней, духовной жизни русской эмиграции происходила и будет происходить большая и разнообразная работа.

Постепенное объединение русской эмиграции в мелкие и крупные организации, нередко боровшиеся и борющиеся между собою на почве исключительно идейной, породила во всех эмигрантах стремление к какому-то единству, не только внутреннему, но также и внешнему, формальному.

Вот это-то стремление к воплощению внутреннего единства в нечто внешнее, формальное, и следует называть Зарубежной Россией, убежденной в невозможности какой бы то ни было эволюции советской власти и полагающей, что освобождение нашего отечества от большевиков возможно только насильственным способом.

Процесс образования Зарубежной России показал, что русская эмиграция обладает в целом большими жизненными силами, и эта ее жизненность связывает ее с внутренней Россией.

Несмотря на внешние преграды, русская эмиграция связана со своим отечеством такими кровными и духовными узами, которые позволяют Зарубежной России, с полным правом и без всяких колебаний, говорить с внешним миром от имени России вообще.

Уйдя за-границу, Белая Армия и все те, кто были с ней и ее поддерживали, принесли с собою тот дух борьбы с большевиками, который теперь окончательно овладел всем русским народом. Белое движение и затем крестьянские и рабочие восстания суть два вида одного и того же всенародного отрицания большевизма.

Итак, Зарубежная Россия и внутренняя Россия наполнены одним и тем же духовным содержанием. Русская эмиграция имеет неоспоримое право говорить с миром от лица российской нации.

Каковы бы ни были раздоры между различными политическими течениями внутри эмиграции, как бы ни были велики эти раздоры и какие бы формы они ни принимали, русская эмиграция, разбросанная по континентам и островам земного шара, говорит и будет говорить всему миру, что власть коммунистической партии, именуемая властью советской, — не русская власть, что задачи ее антигосударственные, разрушительно революционные, что разрушительные действия этой власти направлены против всех государств и что, наконец, желание искусственно представить ее себе в качестве национального русского правительства есть самообман и обман, который всегда разоблачается и будет разоблачаться самими же большевиками.

Советская власть чужда России; она вышла из III-го Интернационала, который отрицает все вообще национальные государства. На этот русская эмиграция давным давно согласилась с Россией внутренней. Эмиграция говорит от лица русского народа, ибо потрясенный, разрозненный, лишенный свободы слова, свободы собраний, он не имеет возможности выразить, что и как он думает о своем собственном будущем. *Наша эмигрантская жизнь за-границей и опыт, приобретенный нами во время революции, обогатили нас таким знанием жизни, какими едва ли когда-либо и кто-либо обладал.* Поэтому для тех, кто в России ждет падения советской власти, необходимо знать, что и как думает эмиграция.

Там, во внутренней России, знают, что когда мы, эмигранты, прошедшие суровую школу трудовой жизни в Евро-

пе, Америке и Азии, изучившие всякие ремесла и всякие специальности и обогатившие свой ум своим и чужим опытом, вернемся на родину, то как бы там к нам ни относились и что бы о нас ни думали, мы сумеем во всех областях государственной жизни приложить свои знания, проявить творчество, завоевать себе положение.

Нам нечего бояться так называемых раздоров политических внутри эмиграции. В живом человеческом обществе не может быть единогласия. Пусть все мы разные, пусть каждый из нас по своему смотрит на мир, на будущие судьбы России, на формы ее государственного устройства. Чем сознательнее мы скажем, признавшись в наших разногласиях, что мы едины в стремлении к одной общей задаче сегодняшнего дня, а именно к изгнанию коммунистического интернационала из России и уничтожению этой международной организации, тем большее значение будет иметь это наше единство.

Мы должны повторять всему миру, что с коммунистическим интернационалом никаких стоворов быть не может, что между большевиками и миром идет война неумолимая, ни на минуту не прекращаемая и повсеместная; что она ведется со стороны коммунистов то с оружием в руках, то пропагандой и агитацией, то клеветой и развратом, то биржевой игрой, то лживыми международными переговорами; что при этих условиях всякие разговоры о пресловутой эволюции большевиков суть выдумки или самих большевиков, или предателей, действующих в рядах их противников или же, наконец, людей безумных.

Зарубежная Россия существует. Каждый должен ежедневно спрашивать себя, выполняет ли он свой долг по отношению единства духа Зарубежной России. Русская эмиграция должна проникнуться настроением, господствовавшим в таких организациях, как, например, рыцарские ордена. Все должны считать себя связанными общим обетом и, живя будничной жизнью рабочего, шофера, банковского служащего и т. д., каждый должен знать и помнить, что не может не быть он воином за великое дело России.

И пусть каждый считает именно себя самого обязанным служить этому делу и не ожидать чудес.

Нужно бороться не надеясь на немедленный успех, и тот, кто способен дать длительное напряжение, без надежды на немедленный результат, тот всегда пожнет в конце концов плоды своих усилий».

Так говорил Ю. Ф. Семенов на Зарубежном Съезде, призывая всех оставить партийные счета. И этот призыв навсегда начертало «Возрождение» на своем знамени.

Зарубежный Съезд, на котором выступали со своими докладами Ольденбург и Семенов, был создан и созван, главным образом, по почину издателя и первого редактора «Возрождения». Съезд открылся 4-го апреля 1926 года в Париже. Его открытию предшествовала долгая и сложная подготовительная работа, идеологическая и техническая.

Одно уже то, что в невероятно трудных условиях нашего бесправного рассеяния съезд действительно состоялся, показывает, как велика была тяга к духовному единению у национальной части русской эмиграции. Но святую волю к единению проявило лишь ядро Зарубежной России — непосредственные участники гражданской войны и их окружение, а совсем не политиканствующая плесень, образовавшаяся еще в дореволюционные времена и теперь в изгнании, паразитарно приросшая, справа и слева, к несчастному эмигрантскому телу. Этот губительный нарост, эта смертоносная накипь, подточившая и обрушившая величайшую в мире Империю, продолжала и здесь, в зарубежье, считать себя солью земли, эмигрантской элитой.

Искренно раскаявшийся в своем политическом прошлом, Н. Н. Львов, в речи, посвященной Зарубежному Съезду и напечатанной в «Возрождении», напрасно призывал старых политиканов отречься от прежних партийных делений и заблуждений, объединиться и обратиться к Великому Князю Николаю Николаевичу с просьбой возглавить дружное всеэмигрантское движение. Призывов Львова, Струве, Семенова, Ольденбурга, призывов всего «Возрождения» в целом, Марковы, Керенские и Милюковы не захотели расслышать, они

упорно пытались взорвать, извне и изнутри, дело Зарубежного Съезда.

За полтора месяца до открытия Съезда Н. Н. Львов обратился ко всему русскому зарубежью с речью, напечатанной в издававшемся в Белграде «Новом Времени» и сочувственно воспроизведенной «Возрождением»:

«К единению и миру, — говорил Львов, — призывал нас Великий Князь; ради блага России надо пожертвовать всем. *В то время, когда наши общественные верхи продолжали междоусобную борьбу, низы инстинктивно тянулись к миру, к объединению.* Помочь проявиться этой воле наших низов, побороть старорежимную психологию партийных верхов, раз навсегда положить предел разброду — в этом задача Съезда».

Конечно, лишь в насмешку называл Львов старых политиканствующих интригантов «общественными верхами» русского зарубежья, а ядро эмиграции — «низом». Но практически, житейски, он все же выражался точно, ибо, к величайшему прискорбию, истинная духовная эмигрантская элита работала по фабрикам и заводам, а верховодили ею по-прежнему старорежимные правые и в особенности левые крикуны и интриганы.

Изобличая «верхи» и приветствуя «низы», Н. Н. Львов, вслед за Струве, вслед за «Возрождением» в целом, указывал на глубоко аномальную обстановку, в которой проходила в те годы, да и теперь проходит, жизнь Зарубежной России, по существу духовно здоровой, но во всех своих проявлениях стесненной самозванными водителями.

«Что мы видим! — восклицает Львов, — тяжело об этом говорить, но нужно честно рассеять тот туман, которым покрыт вопрос о Съезде. Единение разрушалось с двух сторон — левыми и правыми. Правые хотели взять Съезд в свои руки, а левые стремились сорвать его... «Великий Князь дал нам либеральную программу, а здесь, в Белграде, коробит людей от слова «правовое государство». Ужас, если все это будет перенесено в Париж. Засилие какой-нибудь одной политической группы есть провал Съезда. Время безличных программ и деклараций прошло. Программа без лица — пус-

той звук. Нужен моральный авторитет, и мы получаем его в лице Великого Князя».

«Ужас», которого так боялся Львов, на Съезде несомненно совершился; все же, вопреки опасениям, он оказался уже не столь ужасным. Правда, все заседания Съезда проходили под дикое улюлюканье «Дней» Керенского и «Последних Новостей» Милюкова; правда, так называемые «зубры» пытались завладеть «полезным начинанием», придать ему партийный, славянофильский, истинно русацкий разудальный характер и, упразднив Великого Князя Николая Николаевича с его «чрезмерно либеральной программой», провозгласить за рубежом своего царя, верного носителя замоскворецких традиций. Однако, благодаря именно Зарубежному Съезду, удалось неопровержимо установить, что эмигрантское ядро не только живо, но и жизнедеятельно, и что приставшая к нему слева и справа старорежимная шелуха со временем сама собою отвалится.

«Возрождение» безошибочно и сразу учуяло на Съезде биение эмигрантского пульса, открыто приветствовало здоровое ядро Зарубежной России и, помогая ему словом и делом освободиться от политиканствующей паразитарной клики, явилось поистине передовым и прогрессивным печатным органом российской национальной мысли.

Во главе Зарубежного Съезда встал первый редактор «Возрождения». Еще за несколько месяцев до Съезда, определяя его задачи Струве писал:

«Зарубежный Съезд окружен трудностями, которые не следует преуменьшать. Главная из них состоит в том разединении, которое политические партии и в частности и в особенности партии левые сеяли и продолжают сеять среди зарубежных русских неприемлющих советской власти. В этом отношении разлагающая пропаганда левых уже принесла огромный вред, и прямо, и косвенно.

Но и помимо этой пропаганды, не так легко провести объединение. Нужна ли для этого какая-либо подготовительная программа?

Если возможно объединение на какой-либо положитель-

ной программе или платформе, то оно желательно. Если такое объединение невозможно, то необходимо объединиться хотя бы на основе категорического неприятия коммунистической власти и решительной борьбы с III-м Интернационалом.

Зарубежный Съезд должен психологически и организационно проложить путь объединению *активных патриотов*. В устремлении к внутренней России заключается мерило того, что может и должно быть предметом суждений и решений Съезда. Он должен обнаружить единый дух и единую волю в борьбе с III-м Интернационалом, создать объединение волей, единый волевой центр, и избрать исполнительный орган, дав ему широчайшие полномочия.

Цель Зарубежного Съезда *создать внепартийное, надпартийное, сверхпартийное — назовите, как хотите, — объединение*. Мы не желаем партий и партийного засилья. Таково первое условие, диктуемое нам всей той обстановкой, в которую мы вдвинуты железной рукой истории.

Как бы ни относиться к тому, что произошло на нашей родине, как бы ни клеймить ту ложь и неправду, которой запечатлена революция, нельзя отрицать, что в России произошли огромные социальные и экономические изменения. Но Россия отвергает коммунизм и социализм, и мы должны ясно и твердо, без недомолвок, сказать, обращаясь к нашему отечеству, что *мы за установление собственности, но не за восстановление или возврат собственности*. Ибо не только с лозунгом, но даже и с задней мыслью о возврате собственности нельзя идти в Россию.

Наша задача не есть восстановление чьих-либо прав и преимуществ, а возрождение Великой Национальной России. И даже, если бы кто-либо из нас хотел, более того — считал справедливым возврат имущества и вознаграждение за нарушенные права, — он все-таки должен отбросить личные интересы, подавить, обуздать свое законное чувство права, ради великой национальной цели. Мы должны быть слугами и орудиями великой исторической национальной задачи *Воссоединения и Возрождения*.

Мы хотим, чтобы Россия была восстановлена на твердом основании Права и Прав, в духе правовой государственности. Но для действенного национального объединения сейчас необходимы живые лица, в которых может сосредоточиться авторитет, которые воплощают в себе надежды и чаяния Зарубежной и Внутренней России. Таким лицом является Его Императорское Высочество Великий Князь Николай Николаевич. Он, будучи лицом Царского Корня, не претендует на престол, он — Вождь. Я не делаю здесь никакой пропаганды Великому Князю. Я описываю факт, я отмечаю то, что делается в душах многих и многих русских людей.

Великий Князь есть символ Великой Национальной России. С этой великой национальной ценностью надлежит обращаться с величайшей осторожностью, памятуя, что преступно превращать ее в партийный лозунг и игральные страсти».

Итак, «Возрождение», ссылаясь на чаяния всех истинных русских патриотов, призывало нас объединиться вокруг имени Великого Князя Николая Николаевича, потому именно, что он не претендует на престол, а символ национальной России. Теперь нет в живых ни Великого Князя, ни генералов Врангеля и Кутепова, приглашавших нас следовать за ним, нет и прежнего «Возрождения». Но идеи и символы не умирают, они по-прежнему с нами, они навсегда, благодаря «Возрождению», запечатлелись в нашей душевной глубине. Наперекор партийным интригам, паразитирующим старорежимным политикам правого и левого толка, Зарубежный Съезд, проповеданный и осуществленный «Возрождением», принес свои плоды. И ныне, через целых тридцать лет, и каких тяжких, переполненных горестным опытом лет, — мы, Россия зарубежная, обращаясь к России внутренней, можем лишь повторить заключительные слова звания Зарубежного Съезда:

«Мы хотим только того, чего хотите и к чему стремитесь и вы. Мы хотим, как и вы, чтобы все прежние распри и обиды были забыты. Мы хотим, чтобы справедливый закон и неподкупный суд охраняли покой и достояние мирного труженника.

Когда же будут сброшены оковы насилия, — там в сердце России, будет установлен строй возродившегося великодержавного Российского Государства. Да будет наша вера простой и ясной. Коммунизм умрет, а Россия не умрет. Этою верою мы победим.»

Главная заслуга организованного «Возрождением» Зарубежного Съезда состоит в том, что он навсегда прекратил, или по крайней мере должен был прекратить, всяческие толки о реставрационных мечтаниях, якобы, присущих русскому эмигрантскому ядру. В этом историческое значение Съезда, иностранцами не отмеченное.

«С чувством смирения, а не самодовольства — говорил Струве в своей заключительной речи при закрытии Съезда, — должны мы установить, что несмотря на трения, мы были объединены в общей большой работе.

Что нас объединяет и будет объединять? Прежде всего мысль о России. Мы сказали, что все взоры наши обращены туда — к России, что мы не эмигранты, а те же сыны Великой России, неразрывно связанные с Матерью-Родиной, которой мы живем и к которой мы тянемся.

Объединяет нас и тот, которого мы здесь так часто называли. Объединяет нас Вождь. Не мы провозгласили и не мы провозглашаем Вождя. Мы прислушались к более сильному голосу, мы признали, что Национальная Россия хочет Вождя, и во всеуслышание объявили об этом. Это гораздо существеннее нашего Съезда, чтобы в дальнейшей работе сойтись на деле борьбы.

Да здравствует Великая Национальная Россия!

Да здравствует Национальный Вождь!

Да здравствует наше согласие!»

11.

Многие русские эмигранты и многие из непосредственных участников Зарубежного Съезда, принадлежавшие к крайне правым группировкам, требовали, чтобы немедленно был создан Съездом исполнительный орган безоговороч-

но подчиняющийся единоличным распоряжениям Вождя, Великого Князя Николая Николаевича. Такое требование ничего не забывших и ничему не научившихся людей в корне противоречило желанию самого Великого Князя, ожидавшего от Съезда, прежде всего, свободных обсуждений, свободного голосования и свободных постановлений. К неосмысленному требованию правых присоединился, к сожалению, даже такой крупный военный и государственный деятель, как генерал П. Н. Краснов.

Возражая казачьему Атаману, а с ним вместе и всем правым, Струве, уже по закрытии Съезда, писал в «Возрождении»:

«Ведь надо же вдуматься в то вреднейшее и ни с чем несообразное толкование, которое дается Красновым и его единомышленниками прекрасной самой по себе идее «безоговорочного подчинения». Русские люди посылают избранных ими людей на совещание, а когда спрашивают мнение этих людей, налицо один ответ: «мы мнения не имеем, мы безоговорочно подчиняемся! «Какую цену имеют такие «мужи совета» для Великого Князя? Ведь надо же понять, что если бы налицо было определенное решение, «приказ» Великого Князя, — то бессмысленна и не допустима была бы процедура обсуждения, а тем более голосования. А раз воле Великого Князя отвечало обсуждение и голосование вопроса, то именно правильно понятая идея безоговорочного подчинения повелительно предписывала: обсуждать и решать этот вопрос свободно, по существу, по совести, не руководствуясь никакими внешними соображениями...

Софистику безоговорочного подчинения нужно раз и навсегда бросить, когда дело идет о совести и общественном сговоре. Когда-то, на нашей всех памяти, казарму развалили, принеся туда приемы общественности, заменяя безоговорочное подчинение совещаниями и голосованиями. Боже упаси сделать обратную ошибку — в дело общественности внести дух казармы!

Когда дело дойдет до «дела», тогда настанет время судить о том, кто окажется способным «безоговорочно подчиняться». Пока же дело идет о совете и общественном об-

суждении — формула безоговорочного подчинения не имеет никакого содержания, кроме демагогического.

Эмигрантская масса от Съезда ждала чудес. Она жила иллюзией, что вот соберется Съезд и сотрясутся стены Красного Кремля. Эти иллюзии сосредоточились вокруг исполнительного органа: «создадим орган — и начнется новая, решительная фаза борьбы с большевиками».

Мы имеем мужество смело и открыто разбить эти иллюзии и весь одиум этого акта принять на себя. Мы не потому «провалили» исполнительный орган, что хотели помешать «спасению России», мы хотели всего лишь помешать тому, чтобы попытка спасти Родину с явно негодными средствами была привязана к имени и личности Великого Князя и чтобы крушение этой попытки хоть как-нибудь коснулось самого Великого Князя.

Это нужно понять».

Но именно этого-то никто и не понял. Предельную осторожность, крайнюю политическую деликатность, проявленную «Возрождением», мало кто оценил. А между тем более всего боялось оно партийности, программности, демагогических выкриков и решений, грубо подчеркнутых казарменных требований реставрации, способных только надолго компрометировать самую идею монархии. Да, конечно, коренными возрожденцами, начиная со Струве и Семенова, владела монархическая идея, но как же далеко отстояли они от лубочной пропаганды, проводимой партийными монархистами вроде Маркова и Крупенского! О самом существовании монархической идеи прекрасную речь произнес на Съезде постоянный сотрудник «Возрождения» И. А. Ильин. Он, по верному определению Ренникова, говорил «о просветленном мыслью, очищенном, освященном правдой, освобожденном от сектантской партийности монархизме».

«Делать из монархизма партию, — говорил Ильин, — это значит унижать монархическую идею, прикрывать лубком ее красоту».

Но старорежимные возглавители монархической партии, фигурировавшие на Съезде, не разделяли мнений Ильина и за многочисленными речами партийных монархистов

нельзя было, по свидетельству Ренникова, «различить образ будущего царя и вместо царской короны мелькали боярские шапки Мстиславских и Шуйских».

Со дня Зарубежного Съезда прошло 30 лет, но еще очень многие русские монархисты не научились понимать, что идея монархии не терпит никакой партийности, в том числе и монархической. Именно потому Российские Венценосные Носители этой идеи, включительно до Императора Николая Первого, одинаково не жаловали ни правых, ни левых политиканствующих сектантов.

По закрытии Зарубежного Съезда, долго обсуждались «Возрождением» его удачи и неудачи. И нужно сказать, что вывод, сделанный «Возрождением» из приобретенного опыта, был верен и глубок. Все без исключения старорежимные партии, правые и левые, обнаружили на Съезде и по поводу него свое неразумие, свою внежизненную теоретичность, свои думские навыки, слишком часто несогласованные с элементарными правилами чести. С говорливых уст представителей этих старорежимных партий то и дело срывалось «слово гнило», от которого предостерегает нас Писание.

Но насколько оказались несостоятельными эмигрантские самозванные «верхи», настолько же проявили свою жизненность «низы» — истинная элита Зарубежной России. Непосредственные участники гражданской войны, повстречавшиеся лицом к лицу с суровой действительностью, вынесли из этой встречи, хотя умом и не проверенное, но глубокое чувство государственности, возродившуюся в борьбе любовь к российскому величию, безнадежно утраченную русскими партийными людьми. К этим истинным борцам за российскую государственность, попорченную политиканствующими сектантами, и обращалось «Возрождение», умудренное на Съезде горьким опытом.

Главная заслуга Съезда была в том, что в спорах и столкновениях он невольно произвел нужный отбор, изобличил отживших и спаял живых. И вот, обращаясь к живому ядру Зарубежной России, стали вырабатывать возрожденцы новую идеологию. Съезд показал, что еще рано было говорить об исполнительном органе, что еще не выработалась,

не поступила в сознание и потому не оформилась словесно новая, вернее сказать *обновленная* российская государственная идея. Пребывая в сердцах, но не в умах, эта идея искала и не находила своего сознательного выражения. И уж никак не могла она проявиться на Съезде: ее заглушали выкрики старых партийных монархистов, сторонников реставрации. Тщетно взывал Струве в «Возрождении»:

«Съезд должен дать картину единения вокруг Вождя и отогнать призрак «реставраторства». Большевики только и мечтают о том, чтобы можно было истолковать постановления Съезда, как реставрационные вождедения.

Великий искус предстоит членам Съезда: не соблазнить-ся видимостью «парламента» и помнить, что ни у них, ни у кого другого нет принудительной власти и что их единственная и задача и возможность — провозглашение идей и призывы сплотиться вокруг воплощающих их людей и лиц».

Но крайне правые группировки предпочли не считаться с предупреждениями Струве и придали заседаниям Съезда поистине трагикомический оттенок тем, что именно они, ненавистники каких бы то ни было парламентов, показали себя яркими парламентариями, стремящимися, хотя бы призрачно, провести путем голосования свои реставрационные постановления.

Однако, непосредственные участники гражданской войны, — подлинное живое ядро Зарубежной России — отвращались равно, как от левых, так и от правых партийных группировок. Они, подобно лучшим людям Внутренней России, хотели встать под знамя Вождя, символизирующего собою великое национальное прошлое нашего Отечества. Плохо ли, хорошо ли, но Русь и Россию созидала одна лишь великокняжеская, самодержавно царская, и императорская надпартийная власть, всегда приветствовавшая так называемое здоровое «общественное мнение» и не терпевшая никакой политической, хотя бы и монархической партийности.

Бывшие участники гражданской войны тяготели к восстановлению в России надпартийной императорской власти, но чувствовали при этом, что прямолинейная реставрация была бы губительна, что монархию в России можно восста-

новить теперь только через обновление Имперской Идеи, утраченной правящим слоем в последние десятилетия перед революцией.

Прямолинейная реставрация привела бы нас к непрочному возобновлению погубившей Россию, ущербной, туземной монархии славянофильского толка.

Бывшие участники гражданской войны обладали здоровым государственным инстинктом. Они не пошли вслед за партийными старорежимными правыми и решительно отмежевались от злостной реставрационной пропаганды ведомой Марковым и Крупенским. Живое ядро Зарубежной России вынашивало в себе неосознанно иную идею и ощущью, инстинктивно, искало и не находило ее сознательного словесного выражения. *Эту иную, старую, но мучительным опытом обновленную идею суждено было выразить «Возрождению», и в этом его главнейшее неумирающее значение.*

О пересмотре идеологии, о ее насущной для нас необходимости, первым на страницах «Возрождения», еще в 1925 году, заговорил И. А. Ильин. Мысли, высказанные им по этому поводу, так верны, глубоки и значительны и так важны для нашей темы, что требуют от меня по возможности подробного изложения.

«Волевые, героические натуры понимали, — писал И. А. Ильин, разумея начальную фазу русской революции, — что шайтаны погубят Россию, громко говорили об этом, пытались бороться и оказывались в одиночестве. Спасительное, наступательное противодействие не возникало, не крепло: *направо не верили, налево не давали денег, не или, не помогали (курсив мой — Г. М.)* ... И шайтанская стихия победила; она нашла своих «вождей», развернулась и осуществила свои вождедения.

Тем самым на всех нас была возложена великая задача — пересмотреть свои силы, свой духовный уклад, свою идеологию»...

«... Что соблазняло нас в шайтанство? Что побуждало нас непротивленчески требовать для его злодействования — свободы? Что побуждало нас расшатывать обуздывающие

его силы?.. Куда же годилась наша *противогосударственная «правизна»* и *безгосударственная «левизна»*?

Констатирование беды пробуждало чувство ответственности; чувство ответственности открывало вину, — во-первых, общую, совокупную вину, и, во-вторых, многое множество индивидуальных вин, для каждого свою. Из глубины этого чувства рождалась готовность признать свое нравственное и политическое *несовершеннолетие*, сесть на ученическую скамью, принять новый, трагически даруемый духовный опыт, принять его по большому, по главному, связаться с ним на жизнь и на смерть, довести его до честной мысли, до храброго слова и поступка — и тем выдвинуть *новую идею*, которая может оказаться по существу не новой, а древней, и только нам открывшуюся по новому».

«Надо понять раз и навсегда, — продолжал И. А. Ильин, — что революция пришла *не случайно*; что ее бактерии размножались в благоприятной среде наших болеющих душ, что победить революцию надо прежде всего *в нас самих*, что во внутренней России это достигается по большей части медленным, пассивным *изболеванием*; и что только Зарубежной России дано и задано выполнить это очищение в свободном, активном напряжении духа. Надо понять этот закон во всей его строгости: *на сменовеховство обречены все, неспособные очиститься и умудриться. И не безразлично ли, когда это свершится... Ведь качество революционной стихии не меняется и не эволюционирует. И болото ее будет засасывать и опозоривать слабых людей до самого конца.*

«Правые» соблазнялись «силой» революционной власти, беззащитностью ее требований и экзекуций, «левые» соблазнялись «демократичностью» революционной политики, шумом и треском ее массовых инсценировок, мнимой «самодетельностью народа». Соблазн был непосилен и для тех и для других, ибо правые так и умрут, не поняв, что «сила» сама по себе ничего не обеспечивает и не спасает; а левые так и умрут, до конца воображая, что массовая шумиха есть сама по себе драгоценное достижение... И именно потому, что те и другие только и способны жить с вывихнутым политическим разумением и будут до конца идеализировать его,

они до конца будут склонны узнавать черты своего лица в гримасах и харях советской власти...» «С самого начала революции, справа и слева образовались кадры лиц, поставивших себе в особую добродетель — способность ничему не учиться и ничего не забывать. Всякое идеологическое искажение и обновление они отвергали с негодованием; их недуг стал их символом веры; это были идолопоклонники своих заблуждений». (Курнив мой Г. М.)

Так писал И. А. Ильин в «Возрождении» за несколько месяцев до Зарубежного Съезда, обнаружившего перед всеми полнейшую несостоятельность и правых, и левых, и умеренных партий. Ведь спасение от правой и левой бездарности и демагогии надо искать не в умеренности и аккуратности, свойственных кадетской партии, находившейся и в прежнее время в компромиссной золотой середине, но в новой, надпартийной государственной идее, по слову И. А. Ильина, в идее древней и только нам через трагический опыт раскрывшаяся по новому. Прибавим, забегая несколько вперед, что эту драгоценную для нас идею раскрыл и выразил впоследствии на страницах «Возрождения» не И. А. Ильин, а Струве, и, главным образом, А. А. Салтыков. Все же заслуга И. А. Ильина чрезвычайно велика: он первый с предельной точностью и правдивостью заговорил в изгнании о темной сущности наших политических пороков и грехов, он первый по-новому поставил вопрос о нашей всеобщей вине и о личной вине каждого из нас в отдельности, он первый, исходя из начал религиозных изобличил революционное интеллигентское окаянство и тем по-новому обострил переживания нашей национальной и личной совести. Все, выраженное впоследствии коренными возрожденцами, породилось их обостренной совестью, их склонностью к покаянию, и в этом они во многом обязаны огненному слову И. А. Ильина. Это он прозорливо предугадал в «Возрождении», что непокаявшиеся «правые» и «левые», пытающиеся спасти свои правые и левые вывихи, коснеющие в старых пороках, в слепоте и старых недугах, рано или поздно «индивидуально провалятся в большевизм, так же, как в пер-

вичной стадии русской революции русские люди провалились в нее *коллективно*. Ибо у партийных людей, — добавляет И. А. Ильин — (все равно «правых» или «левых»), осталась старая несопротивляемость духовного организма, старая слепота. А искушение стало неизмеримо более сильным».

Теперь, после советских паспортов, выбранных многочисленными правыми и левыми эмигрантами, после почтительных визитов в полпредство, сделанных старыми военными, светскими и духовными партийными людьми занимающими видное положение в эмиграции, мы, хоть и несколько поздно, но изумляемся прозорливости И. А. Ильина, удивляемся духовной зоркости «Возрождения» в целом.

И. А. Ильин до конца понимал и чувствовал, что к катастрофе привела нас давнишняя утрата некоей зиждательной и величественной идеи, что мы, а за нами все «культурное» человечество переживаем теперь эпоху великого *идейного кризиса*.

«Это есть прежде всего, кризис духовно-религиозный, — писал И. А. Ильин в «Возрождении», — а потом, в глубокой связи с этим, кризис нравственности, государственности, искусства и экономики. Какие-то долго истончавшиеся нити и ослабевавшие скрепы в наши дни порвались, и весь духовный строй и уклад человечества грозит разложиться сверху до низу. И вот, первое, что нам всем необходимо: увидеть и признать это; второе, — исследовать природу этого кризиса, его основы и причины; третье — искать выхода и обновления.

Современный мир переживает *духовную смуту*. Но гнездо этой смуты водворилось *на нашей родине*: там сейчас ее *дно*, ее *очаг*, ее *рассадник*.

Почему же именно на нашей родине? Как могло это совершиться? Чего именно не доставало ей и нам? Есть ли для нас исход и спасение? И в чем именно? — В этом *наша* проблема, особая, отдельная от других народов и всего человечества...

Нам предстоит бороться со злом не только силою, но главное *идею*, зрелым проявлением — реформою. И победа будет одержана не тогда, когда одолеет наша сила, — это

будет только началом; а когда верная идея приведет к верной реформе».

И. А. Ильин, как и большинство коренных возрожденцев, знал и видел, что многие, очень многие, принимают идею всего лишь за тактический лозунг или организационный «прием», или за принцип «формальной юриспруденции (легитимизм, республика) и т. д.»

«А между тем, — утверждал И. А. Ильин, — *идея у нас есть. Именно идея. Именно у нас, у белых.* Она нам не дана, а добыта нами; добыта любовью и опытом, усилиями и страданиями, добыта в борьбе перед лицом смерти, и живет в каждом из нас в глубине его чувств и воли; *но живет в нераскрытом, как бы нераспустившемся виде.* (Курсив мой. — Г. М.) В белой душе есть как будто некая шахта и на дне ее некий светящийся клад, как бы частица непрерывно излучающегося радия; но по этим сверканиям которых не подделаешь и не фальсифицируешь (ибо они — в высшем религиозном смысле слова искренни), мы узнаем друг друга.

Но далеко не все наши знают и понимают, что в этом излучающем центре белой души и белого характера — заключена, завернута, скрыта та идея белого движения, которую надо извлечь, поднять и утвердить на общее сознание и признание».

И. А. Ильин бесспорно и несомненно был прав, утверждая, что белая идея жила и все еще продолжает жить в своем нераскрытом, как бы нераспустившемся виде, в душах многих участников белого движения. Однако, ныне, хоть и для немногих, но все же белая идея раскрылась, развернулась и осуществилась в разуме. Она поступила в сознание, пусть пока еще немногих, благодаря «Возрождению», благодаря подготовительным духовным усилиям И. А. Ильина, учувшего ее вторичное зарождение, ее обновление в душах русских людей — там, далеко, еле видно, на дне, в благословенных тайниках, в душевных недрах нашей родины. Но сознательное раскрытие идеи, созревшей в глубинах белой души, было сделано не И. А. Ильиным, а П. Б. Струве и А. А. Салтыковым.

Я уже говорил в начале этой книги о двух важнейших

течениях, о двух направлениях, присущих коренным сотрудникам «Возрождения». Некоторым из возрожденцев, в том числе и И. А. Ильину, дано было, вслед за Достоевским, религиозно чувствовать и постигать вечно женственную сущность родимой земли, святой Руси. Другим, во главе со Струве, Салтыковым и Семеновым, дано было сознать, понимать, вслед за Константином Леонтьевым, духовную суть российской нации, осмысливать отечественный, мужественно творческий, созидательный очаг.

И. А. Ильин, воспринимавший Россию прежде всего, как родину, первый учуял в белой душе плод обновляющейся, заново назревающей идеи. Но существа идеи он не определил и не высказал, ибо все его внимание сосредоточилось на самом факте ее чудесного зарождения.

«Пусть не думают люди «немыслительного склада», — писал Ильин в «Возрождении», — что «извлекая», мы что-то теряем, «поднимая», обессилим, «сознавая», затемним или погасим. Все в глубине останется по старому — не уменьшенным, не утраченным и сильным; но приобретет сверх того — доступность для ума, ясность, достоверность; станет постигнутым принципом, доказуемым основоположением, сознательным «убеждением», станет правилом новой общественной организации, мерилom обновляющегося законодательства и порядка. Иными словами, добытая нами в живом опыте волевая верность и волевая сила станут идеею, но не отвлеченной выдумкой досужего ума, ее условной «конструкцией», а идеей-силою, способом жизни, патристическим деланием.

Поднять эту идею из глубины белого опыта и возможно, и необходимо. Для этого, между прочим, нам дан срок эмиграции. Но работа эта только еще начата» (Курсив мой. — Г. М.).

И. А. Ильин, равно как и Струве, и Салтыков, и Ольденбург, и Чебышев, призывали русских людей на страницах «Возрождения» отречься раз и навсегда от безбожного, беспочвенного, беспредметного радикализма 19-го века, «умевшего критиковать и бунтовать, и не умевшего ни государственно властвовать, — ни сопротивляться злу силою». «Необ-

ходима, — добавлял И. А. Ильин, — новая, верная установка души, обновленный духовный акт, сознательный и идеологически развернутый в систему народного просвещения и ационального воспитания».

Вообще в высшей степени характерно для коренных возрожденцев, как верных носителей белой идеи, их решительное, бесповоротное оттолкновение от безбожных теорий, от беспочвенного, беспредметного радикализма 19-го века.

Но именно потому, что решительно отвергало «Возрождение» атеистический радикализм 19-го века, оно в лице своих лучших представителей стремилось излечить многочисленных участников белого движения от чрезмерно радикальных и прямолинейных суждений, неминуемо приводящих к не менее радикальным и непоправимым действиям. Так, еще в 1925 году И. А. Ильин писал в «Возрождении», обращая преимущественно к непосредственно участвовавшим в гражданской войне:

«Можно, конечно, закрыть себе глаза на трудное и сложное, — рубить с плеча: «вздор», «нет», «довольно», «дой», «упразднить». Чем ожесточеннее и необразованнее душа, тем легче она занимает такую неумную позицию. Но надо же понять, что голое отрицание не опровергает заблуждения и не отрезвляет увлеченного человека; что *идейный нигилизм справа* не многим умнее и состоятельнее *левого нигилизма...*» Пусть социализм есть заблуждение; но разве честные люди впадают в заблуждение не в поисках справедливости? Пусть равенство есть завистливая химера; но разве всякое неравенство справедливо и жизненно полезно? Пусть бремя свободы непосильно для многих людей. Значит ли это, что человеческий дух не нуждается в свободе? Пусть современная демократия искажает здоровую государственность и создает расцвет пошлости; значит ли это, что между властью и народом должно существовать отчуждение и разобщение?»

Обратиться к читателям «Возрождения» — бывшим участникам белого движения, обратиться вообще к русским людям наших дней с подобными вопросами-ответами, было

со стороны И. А. Ильина умно, уместно и своевременно, ибо носителям белой идеи и, следовательно ее осуществлению, грозила и все еще грозит опасность не слева, но справа. Левых, русская революция изобличила до конца, радикализм 19-го века опытом белого движения был обезврежен, изжит и исчерпан, но правые, хоть и сильно скомпрометированные в глазах белого офицерства своим поведением во дни гражданской войны и в эмиграции, по-прежнему соблазняли людей «немыслительского склада» своим методом коротких и тупых замыканий, своей биологичностью, зоологичностью, способной подавить любую самостоятельную мысль, погасить любое духовное горение.

Отвергая правых наравне или почти наравне с левыми, изобличая вывихнутое политическое разумение и тех и других, И. А. Ильин предуготовлял пути для нахождения новой, или вернее обновленной, российской государственной идеологии. Но сознательно развить и развернуть ее суждено было не Ильину, а Струве и главным образом Салтыкову, при дружной поддержке, сотрудничестве и сочувствии Семенова, Ольденбурга и Чебышева — людей, глубоко разделявших государственные воззрения Константина Леонтьева.

12.

Оба редактора «Возрождения» — и Струве и Семенов, были всегда одинаково далеки от всех видов и подразделений народничества, от всех упований и ставок на голое племя, или, что то же, на этническую гущу, на туземщину. Струве в молодые годы в значительной мере предохранился от народничества марксизмом, с его верой в идею, пусть низменную и злостную, но прививаемую народам извне, в целях выработки психически и телесно новой человеческой породы. Впоследствии, отказавшись решительно от всех социалистических теорий и построений, Струве весь целиком отдался религиозному чувству, пламенной вере во Всевышнего, приведшей его в зрелые годы к Церкви, причем его восприятие вселенского православия оказалось — совсем не слу-

чайно, а напротив того глубоко закономерно, — далеким от церковной общественности и тем весьма близким к средневековой аскетической церковности Константина Леонтьева, во всех отношениях чуждой вере в народ, как самостоятельного носителя идеи и вообще каких бы то ни было творческих самовозгорающихся возможностей.

Отказавшись от социализма, понимаемого по марксистски, и отдавшись религиозному чувству, Струве неминуемо должен был прийти к оправданию и принятию имперской государственности. В свое время, с наименьшей закономерностью, пришел к ней и Константин Леонтьев, углубляя и усложняя свое религиозно-эстетическое понимание монархизма.

Что же касается Ю. Ф. Семенова, то он, подобно Константину Леонтьеву, монархистом родился. Его длительное пребывание на Кавказе (он окончил гимназию в Тифлисе и позднее там же был редактором видной газеты) укрепило и развило в нем цельное, ничем не ущербленное чувство, а впоследствии и сознание государственного величия Империи.

В сумеречные десятилетия России конца 19-го и начала 20-го века, когда сами наши монархи, а за ними правительство, двор, высшие военные и светские чины, утратив верное представление о деле Петра и подготовивших это дело деяниях Иоанна 4-го, Царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона, превратились в народников славянофильского толка, — на различных окраинах России, и особенно на Кавказе, все еще принимались по инерции имперские меры, проводилась имперская политика, прививались принципы имперской государственности. Малейшее отступление от Петровских заветов, малейший уклон к какому бы то ни было виду народничества, привели бы нас на Кавказе к весьма тяжелым осложнениям. Старые, в высшей степени патриархальные, кавказские национальности по-прежнему опирались на строжайшую иерархию.

Признав, по замирении, за Петербургом право высшего, во всех отношениях и смыслах надпартийного судьи, избавившего их от непрерывных войн, междоусобиц и братоубийственной мести, кавказцы никогда не простили бы цар-

ской власти ее измены надплеменной имперской идее, не простили бы антигосударственной, хотя бы только теоретической пропаганды призрачного славянского превосходства. Наместник, если бы он и захотел того, не мог бы, пребывая в Тифлисе, не соблюдать строжайшим образом имперских принципов правления, установленных на Кавказе еще в царствование Императора Николая I и Александра II. Погружаясь в центре и в столице в духовном отношении в сумерки, Российская Империя продолжала жить и процветать на своих окраинах, в особенности на Кавказе. На Тифлисе, на его штатских и военных чинах, на его администрации и обитателях опочил имперский дух. Чрезвычайно острая племенная рознь, все еще существовавшая между кавказскими национальностями, нисколько этому не мешала. Напротив, она то и понуждала враждующих возлагать все чаяния на Империю, как на избавительницу от векового зла.

В атмосфере имперского государственного творчества вырос, воспитался и жил в Тифлисе Ю. Ф. Семенов. Дух свободы, терпимости и политического такта и одновременно волевою организаторскую мудрость принес он с собою в «Возрождение». Под руководством Струве, потом Семенова, при ближайшем участии Ольденбурга, Чебышева и Салтыкова, оно стало рассадником и распространителем имперской идеологии. Но мужественный, суровый дух этой идеологии всегда смягчался в «Возрождении» дыханием Родины-Матери, воодушевлявшим все статьи И. А. Ильина, произведения Куприна, Шмелева, Сургучева, Коровина, Лукаша и Бориса Зайцева. Либерально-консервативным началом, проповеданным Струве и всецело унаследованным Семеновым, живы были и злободневные фельетоны А. М. Ренникова, а также и А. А. Яблоновского, совершенно излечившегося от своего прежнего радикализма.

С утверждения либерально-консервативной имперской идеологии, обновленной Струве, началась духовная жизнь «Возрождения».

Это необычное соединение двух, казалось бы непримиримых между собою, понятий, принадлежит умнейшему современнику и другу Карамзина, Жуковского, Крылова, Чаада-

ева, Грибоедова, Пушкина, Баратынского, Тютчева, и Гоголя, глубокому и острому мыслителю, автору целого ряда статей и писем, написанных на темы общекультурные и литературные — князю Петру Андреевичу Вяземскому.

Он на многие годы пережил своих младших друзей, Пушкина, Баратынского, Гоголя, пережил он и Тютчева и умер в 1878 году восьмидесяти шести лет от роду. Он был горестным и одновременно ироническим свидетелем нигилистических опытов Писарева, Чернышевского и Добролюбова, свидетелем их варварских усилий, направленных на разрушение религии, искусства и подлинной науки.

В зрелые годы неотъемлемая частица краткого русского ренессанса, золотого века русской литературы, с какой ядовитой усмешкой смотрел он на молодых невежд!

В семидесятых годах, в глубокой старости, он видел начинающиеся сумарки российской государственности, он наблюдал умственную скудость уже нарождавшихся у нас политических партий, засилие при дворе позднего славянофильства, превращавшегося постепенно в плоский шовинизм, вырождение подлинной либеральности в радикализм, консервативности в реакционность. К тому времени все исторические и культурные перспективы были уже в достаточной мере исковерканы у нас левой скрытой и открытой пропагандой, равнением разночинцев и так называемой интеллигенции на революцию.

Между прочим, к середине 19-го столетия, для более успешного достижения революционных целей, радикально настроенные интеллигенты окончательно исказили истинный образ Пушкина. Из человека глубоко сословного, гордившегося своим шестисотлетним дворянством, по духовному своему скаладу и воспитанию всецело принадлежавшего великодержавному 18-му веку, революционные радикалы беззастенчиво смастерили некий призрак собственного подобия, некое самоотверженное разночинца, вступившего в борьбу с жестоким самодержавием во имя равенства и социальной справедливости.

Именно в ответ на такое безобразное искажение Пушкина, как человека, князь Вяземский, в одном из своих

поздних печатных выступлений, назвал государственные воззрения поэта либерально-консервативными, невольно определив этим и самое существо имперской идеи, созидавшей Россию. Назвать государственно-политические основы Пушкина значит наименовать самую сущность заветов строителя чудотворного — Петра. Это понял Струве и благоговейно приняв к руководству крылатое выражение князя Вяземского, возродил и омыл его, говоря словами Баратынского, в купели наших новых страдальческих дней.

Вот что писал Струве в «Возрождении» в 1925 году о либерально-консервативном начале:

«Консерватизм есть возведенная в принцип «почвенность» и сознательное почитание отцов. Радикализм есть принципиальное отрицание исторической почвы и высокомерное презрение к отцам.

Либерализм есть политическое направление, высшею ценностью признающее личную и прежде всего хозяйственную свободу. Но русский интеллигентский либерализм шел в хвосте социалистического радикализма.

Сочетая слова «либерализм» и «консерватизм», мыдвигаем целую программу. Это сжатая формула, провозглашающая личную свободу тем устоям жизни, которые, как высшую ценность, мы будем отстаивать от наседающего на европейскую культуру социализма-коммунизма.

Можно сколько угодно заниматься обличением современного капиталистического или буржуазного строя, можно справедливо указывать на духовную выветренность европейского общества, но только полная утрата чувства исторической перспективы и совершенное непонимание значения форм жизни может диктовать внутреннее лживое и бескусное моральное приравнение и даже отождествление социализма и капитализма.

Борьба социализма с «буржуазным» правопорядком не есть борьба двух зол — это натиск социалистического варварства на органическую христианскую культуру.

Тут намечается, можно сказать, историческая задача русской контрреволюции и в частности ее зарубежного крыла — быть *застрельщиком* нового духовного самоутвержде-

ния буржуазного общества, его возрождение на стародавних и вечных началах христианской культуры».

Струве еще до мировой войны 14-го года, в предвидении нашей катастрофы, первый установил величайшую разницу между истинным либерализмом и русским интеллигентским радикализмом, между благотворной государственной консервативностью и правой партийной реакционностью. В радикализме нашей интеллигенции, в реакционности наших правых, в болезненном расщеплении, в расколе еще так недавно здоровой синтетической идеи, заблаговременно усмотрел Струве смертельную опасность, грозящую России. Все, написанное самим Струве в «Возрождении», было лишь дополнением ко многому высказанному им задолго до все-русского крушения.

Партийные споры и ссоры, обнаружившие на Зарубежном Съезде и вокруг него глубочайшую несостоятельность всего «левого» и «правого», нисколько не удивили Струве, давно уже постигшего своим проницательным умом причины русских бед. Не застали они врасплох и Семенова, человека духовно цельного, органического и всем существом впитавшего в себя Петровы заветы. Обличение русского государственного раскола, начавшегося с появлением на Руси западников и славянофилов, породивших волею и неволею смертоносный интеллигентский радикализм и чудовищную племенную славянофильскую реакцию старо-московского образца, обличение всего «левого» и «правого», сделалось одною из главнейших задач «Возрождения». И его единственной конечной целью было обновление и прояснение заветов Петра Великого в сознании подлинных россиян, носителей белой идеи.

13.

На все происки левой, когда-то преступной, теперь же отжившей пропаганды, на кустарную политику правых, «Возрождение», по воле всех членов редакции, ответило статьями А. А. Салтыкова, до сих пор все еще недостаточно оцененными. Эти статьи, по своему историософскому содер-

жанию, сложны, глубоки и в высшем, духовном смысле слова — аристократичны. Они аристократичны, как сама идея киевской, московской и, наконец, российской имперской нации. Но прежде, чем говорить о том, что такое в понимании и толковании «Возрождения» нация вообще, а в частности российская имперская нация, мы постараемся, по возможности кратко, передать, что думал Салтыков, что думало «Возрождение» о славянофильстве, как о главной причине всероссийской катастрофы, главной потому, что уже с конца семидесятых годов это народническое учение, проникнув во дворец, завладело чувствами людей, ответственных перед государством. Высшие администраторы и сановники того времени, заразившись славянофильским учением, поспешили внедрить его сверху в существование. Поддержанное свыше, оно оказалось неизмеримо более губительным, чем учение западников, возникшее, как известно, одновременно и одномоментно со славянофильством в одном московском барском салоне тридцатых годов прошлого века, и быстро выродившееся в интеллигентский революционный радикализм.

Глубоко прав был Салтыков, утверждая, что при императоре Николае I славянофилы находились под неусыпным наблюдением администрации, нисколько не в меньшей мере, чем их враги — западники. Можно даже сказать, что Государь не давал себе особого труда разбираться в принципиальных различиях, разделявших обе секты, и был даже склонен смешивать их в одно. И поступая так, он вовсе не был неправ. Напротив, относясь к славянофилам с такою же подозрительностью, как и к западникам, он обнаружил не только в высшей степени верный государственный инстинкт, но и глубокое понимание политических идей и истории, и прежде всего, глубокое понимание своей Империи.

Но иначе обернулось дело к концу царствования Александра II. В те годы, поддержанное сверху, славянофильское учение широко проникло во все слои населения и сильно пошатнуло российский, дотоле железный административный аппарат.

Развивая и дополняя, на основании непосредственного опыта наших дней, главнейшие положения Константина Леонтьева, Салтыков писал, как в отдельной книге, так и в «Возрождении»:

«Нам необходимо дать себе полный и ясный отчет в том, что Россию разрушила не столько прямая атака Революции, сколько расслабляющее действие Реакции, не столько социалистический интернационал, сколько славянофильский национализм. Славянофильская реакция омертвила в несколько десятилетий всю живую ткань Империи и уничтожила ее, когда-то огромную, силу сопротивления. Она спутала и смешала, видоизменив до неузнаваемости, все основные идеи, всю психологию старой Империи. Она принесла с собою идеи, совершенно чуждые и даже противоречащие природе Империи и, изменив в конце концов коренным образом всю имперскую политику, перепутала и ослабила до чрезвычайности ее внешние и внутренние позиции... Только благодаря этому перерождению нашей старой Империи, Революция могла разыграть у нас свою игру.

Западническая Революция вела против Империи прямую атаку; славянофильская же Реакция подтачивала медленно действующим ядом ее крепкий и здоровый организм. И такое согласное, ведшее, хотя и разными путями, к одному и тому же результату — действие двух враждующих сил сумеречной России далеко не случайно. Оно имеет, напротив, очень глубокие причины, лежащие в самой основе их природы, в их внутреннем, затаенном сродстве...

Наши Реакция и Революция оказались друг другу сродни. Деятельность славянофилов, по существу своему, была революционной, ибо она ниспровергала освященные временем и традициями основы имперской жизни. И именно как к деятельности революционной отнесся к ней Император Николай I. И то же можно сказать и о всей вообще русской Реакции. Она хотела превратить инородцев, иноплеменников, из подданных Российского Императора в подданных русского народа. И этим, при внешнем монархизме славянофилов, Реакция в действительности извращала самую

идею монархии, а также и идею Всероссийской Империи. Так-то впоследствии, когда она уже пропиталась славянофильскими идеями, — стала революционной и деятельность самого правительства, с его лозунгами «обрусения», «Россия для русских» и с его попытками вернуться к — правда фантастическому, как и все идеалы славянофильства — московскому терему. Этот-то отказ от старой петербургской программы, т. е., в сущности, отказ от Империи, революционизировал Россию не в меньшей, а в большей степени, чем бомба Желябова и «иллюминации» 1905 года.

Но в той же мере, как была революционна наша Реакция, была реакционна и даже ретроградна — сама Революция. Она уже загнала Россию на несколько веков назад. И можно ли этому удивляться, когда ее основной и действительный лозунг — призыв к черному переделу — представляет собою не что иное, как отказ от самого принципа прогресса и возврат к первобытному хозяйственному варварству и хаосу. Эти-то черты — революционность нашей Реакции и реакционность нашей Революции — и указывают на их глубокое органическое сродство. И этому, повторяю, нельзя удивляться, так как и Желябов, и братья Аксаковы произошли из одного и того же источника и вместе связаны преемственно с давно позабытыми ночными спорами в одной и той же старой барской квартире в Нащокинском переулке в Москве. В наши дни спор между западничеством и славянофильством можно признать окончательно разрешенным и сказать, что из двух — западника Бакунина и славянофила Самарина — был прав... Император Николай I. Теперь, прежде чем пытаться строить новую Россию, нам необходимо вполне выяснить, какой России, какой Империи мы хотим. Ибо между старой, настоящей Империей Императоров Александра I и Николая I и Россией последних предреволюционных сумеречных десятилетий была огромная разница. Это были две различные, а вовсе не одна и та же, государственности: совершенно различное было у них содержание и даже различны были и формы. Наша старая Империя времен Екатерины II, и Александра I и вся тогдаш-

няя петербургская политика России не были националистическими (в некоторых отношениях они были прямо таки антинационалистическими), они были *национальными* в истинном значении этого слова, т. е. создавали имперское объединение и возвеличивали Россию. Старая империя была тогда не только «дистанцией огромного размера», но и дивным откровением *национального* творчества и чудом политического зодчества. Лишь она пробудила, объединила и организовала разрозненные, инертные и отчасти даже прямо анархические силы нашей первобытной этнической, племенной стихии; лишь она зажгла в сердцах русскую веру и вызвала в них русский патриотизм. Отнесенные судьбой во времена Московии к Северному Полярному Кругу, в пустые холодные равнины, суровые леса и безводные степи, без южного солнца, без теплого моря, без *традиций античной цивилизации*, имели ли мы право рассчитывать стать тем, чем мы стали в действительности, т. е. мировой державою, могущественной и просвещенной страной, житницей Европы и нужным необходимым членом общества великих наций? И все это сделала Империя, и только она. Во внутреннем же ее действии сила притяжения Империи была столь велика, что она сумела не только нейтрализовать, но и привлечь к себе даже такой антигосударственный элемент, как еврейский — так было в николаевские времена.

Нашу старую Империю долго не понимали ни мы сами, ни Европа. Не понимают и теперь. В широких кругах стало чуть ли не трюизмом считать империю — реакционной, а с другой стороны, с легкой руки славянофилов, в нашей исторической науке процвел, вопреки очевидности и фактам, взгляд на дело ее создателя, Петра Великого, как на дело революционное. Между тем, Империя, как и само дело Петрово, не была ни ретроградна, ни революционна. Она была консервативна в лучшем значении этого слова и вместе с тем прогрессивна по самому своему существу. Да, Пушкин не ошибся: в России правительство действительно было всегда впереди народа.

«Немец... финляндец... грузин... татарин... Это и есть

Россия»... Что означают эти слова Николая I? Они означают, во-первых, что все поданные российского Императора, без различия племени и вероисповедания, составляют *единую имперскую семью*; что в Империи не может быть, в племенном отношении, подданных первого и второго сорта; что она не может делать различия между родными своими сыновьями и пасынками, *между туземцами и пришельцами*; что всякая политика обрусения противоречит идее Империи по самому существу.

Но, наряду с мыслью о равноправии всех подданных все-русского Императора и всех населяющих Империю национальностей, наша старая имперская идея имела и другую сторону. Совершенно очевидно, что будучи для всех общей матерью, Империя строилась и была жива не тунгусами и юкагирами и даже не грузинами и татарами. Кем же преимущественно строилась она? Коренным русским племенем? Нет! Превознесшая до небес русское имя и создавшая русскую славу и русское величие, старая Империя отвечала иначе в сокровеннейшей своей мысли на этот вопрос. *Она считала себя призванной, и действительно была призвана, это племя оевропеить*. Во многих отношениях она была прямым отрицанием племенных великоросских черт, была борьбой с ними. Вообще она была живым отрицанием темного этнизма и ветхого московского терема. Для нее принадлежность к русскому племени сама по себе не означала ничего. Мерилом ценности подданного была лишь служба Империи. Поэтому служащий грузин, немец, армянин были всегда выше не служащего русского. Кроме того, паролем и лозунгом Империи было дело Петрово. Она смотрела на Запад, а не на Восток. Отсюда — вся направленная на запад политика старого имперского правительства, а вместе с тем и огромная роль, выпавшая в строительстве Имперской России нашим западным областям, населенным не русским и, во всяком случае, не великоросским племенным элементом.

Наше старое имперское правительство было европейским правительством азиатской страны. И поэтому-то это правительство и было всегда впереди народа. Так обстояло дело до

самого последнего дня, т. е. вплоть до нашей злосчастной и бездарной революции; из двух сил, творивших на наших глазах судьбу России — правительства и пресловутой «общественности» — прогрессивною силою было, конечно, правительство, олицетворявшее Империю. Эта истина уже теперь должна быть ясна для всякого. Но как ни истинна эта истина, нельзя не видеть, что в самой Империи, в основных ее идеях и повседневной практике, произошли в течение последних десятилетий существенные коренные изменения, искажившие, в конце концов, ее подлинное лицо. И параллельно с усилением в имперской жизни начала так называемой «народной самобытности», стали понемногу иссякать в ней прежние, действительно животворящие струи. Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы — вот первые этапы этого нисходящего развития, или, говоря проще, русского декаданса. Наступили сумеречные десятилетия. Славянофильские идеи торжествовали по всей линии. Они то и сделали возможным революционный подкоп, совершенно бесповоротно подорвавший нашу государственность во дни ретроградной, приведшей к революции и большевизму, т. е. к первобытному варварству — безысходно серой и безнадежно провинциальной Государственной Думы. А между тем, близорукому глазу долгое время могло казаться, что ее деятельность была направлена на весьма прогрессивные цели. И не прикрывалась ли эта разрушительная деятельность, запечатленная весьма типическими недостатками именно русской общественности, именно нашей этнической стихии, такая русская душою, — что ни на есть, казалось бы европейскими формами «партий», «запросов», «бюджетных прений», включительно до специального думского жаргона всяких «кулуаров» и. т. д.?

В конечном итоге, с какой стороны ни взять, наша «общественность» — как западническая, так и славянофильская, как революционно-космополитическая, так и реакционно-националистическая, — всегда была стихией анархической и глубоко антигосударственной. Таковою она была на заре нашей истории (что может быть в этом отношении показа-

тельное эпизода «призвания Врагов»?) и таковую же она осталась до наших дней.

Вся наша история была сплошным призывом Варягов, и в настоящее время, когда в корне разрушена наша государственность, тем страннее ожидать, чтобы мы смогли создать что-либо творческое и положительное из самих себя, т. е. из той же пресловутой русской «общественности», которая всегда только умела разрушать.

Русская государственность была всегда борьбою против этой общественности не случайно. В этой борьбе заключался ее главнейший смысл. По самому существу этих во всем противоположных друг другу начал, они должны были быть, и действительно неизменно были кровными врагами.

Наше самодержавие было в сущности ничем иным, как европейским просвещенным абсолютизмом. И как раз в ту же эпоху, когда он расцвел в большинстве стран Европы (XVIII век), и у нас окончательно консолидировалась и окрепла и вместе с тем глубоко прониклась просветительными и прогрессивными стремлениями, — царская власть. Но сродство или вернее полное тождество и самой конструкции власти, и ее функций и вообще исторического действия в России и в большинстве европейских стран — не ограничивается одною лишь эпохою «просвещенного абсолютизма». Русская государственная власть, как она сложилась в 18-м и первой половине 19-го века, была таким же продуктом зачаточной монархии «Рюрика, как и ново-европейская монархия постепенно развилась из феодально-коммунального строя эпохи Каролингов и Капетингов. Разница лишь в том, что в то время, как европейские страны проделали эту эволюцию самостоятельно, в России, в виду органической слабости и неустойчивости ее созидательных элементов, она могла совершиться лишь под сильным европейским влиянием. Что же касается эпохи «просвещенного абсолютизма», то власть наших государей, наследников Петра Великого, была не менее и не более абсолютной, чем власть современных им европейских монархов. ореол же религиозного освящения был присущ политической власти европейских суве-

ренов ничуть не в меньшей степени, чем власти московских царей.

Но в России, в виду огромности ее территории и первобытного анархизма ее этнической стихии, потребность в резко очерченной, могущественной центральной власти всегда чувствовалась в гораздо большей мере, чем в западноевропейских странах с их хорошо дисциплинированной «общественностью» и тысячелетними традициями и инстинктами древних цивилизаций».

14.

Я сделал и позволю себе сделать еще обширные выписки из некоторых историософских рассуждений Салтыкова о судьбах России только потому, что они содержат в себе основные положения, настойчиво выставлявшиеся, проводившиеся и распространявшиеся «Возрождением» в период его существования от 1925 по 1940 год. Надпартийная или, как писал Струве, сверхпартийная политическая позиция, занятая «Возрождением», неминуемо повела и привела этот печатный орган русской национальной мысли к утверждению имперской идеи, впервые обоснованной религиозно-философски Константином Леонтьевым. За всеми рассуждениями Салтыкова и Струве, за всей редакторской системой, установленной Семеновым, за всем прежним «Возрождением» стоит тень этого величайшего религиозно-государственного мыслителя. Одни стороны его учения развивал в «Возрождении» Струве, другие, дополняя Струве, культивировал Салтыков. Что же касается Семенова, то он вел «Возрождение» так, как вел в свое время Константин Леонтьев редактируемый им «Варшавский вестник». Но все это было не подражанием великому мыслителю, а дальнейшим органическим развитием, выращиванием его идей, с новой силой устремившихся к жизни, властно ищущих своего воплощения и применения, в противовес всероссийскому крушению. Других путей спасения, кроме намеченных когда-то провидевшим русскую революцию Константином Леонтьевым и продолженных «Возрождением», у России как будто не предвидится.

Роковым ходом революционных событий все утверждения, все рассуждения Салтыкова о судьбах России заострены до крайности. Они заострены так еще и потому, что Салтыкову дано было, как мы уже сказали, выращивать лишь некоторые стороны этих идей Константина Леонтьева, в то время как другие стороны этих идей развивались Струве. Но и вдвоем не могли они исчерпать всех возможностей, скрытых в религиозно-государственном учении Константина Леонтьева. Мудрость же Семенова, как редактора, сказалась в том, что он сумел сгруппировать в «Возрождении» еще иные творческие энергии, связанные не с мужественной мощью отечества, а с женственной силою Родины-Матери. Но прежде, чем говорить о значении этих энергий в «Возрождении», вернемся к насущному для нас рассуждению Салтыкова о народе и нации.

«Один из гениальнейших русских писателей, — писал Салтыков, имея в виду Достоевского, — вкладывает в уста одного из своих персонажей такую фразу: «Бог есть собирательный гений народа». Этот случай показывает, насколько осторожно следует обращаться с понятием Божества и как легко впасть в злоупотребление термином «народ», особенно в русском языке, где это слово имеет много значений и притом крайне распылчатых и неопределенных. Именно поэтому необходимо указать на опасность любой идеологии, отправляющейся от начал «народа», «народности», «племени», «самобытности» и т. д. Дело в том, что мы не успели еще выработать своего русского слова для означения «нации» — факт, далеко не случайный, как не случайно то, что и само слово нация у нас далеко еще не обрусело. Поэтому это понятие мы часто выражаем словом «народ». Но «народное» очень часто и многими понимается у нас, как «простонародное», и, таким образом, от возвеличивания «народного» к возвеличению «простонародного» — один шаг. В эту-то диалектико-психологическую ловушку и попали и ушли с головою славянофилы.

«Править Русью призван только черный народ».

Вот диктатура пролетариата и торжество «простонарод-

ного», провозглашенное еще за пятьдесят лет до Ленина и Троцкого, и притом в прямой связи со славянофильскими идеями!

При этом я, конечно, не оспариваю, что народничество имеет и западническую генеалогию — новое доказательство единственности наших «Реакции» и «Революции».

И как все это вместе взятое и славянофильство, и западничество, и стихия «народного» и «простонародного» — далеко от нации и всех связанных с нею творческих ценностей жизни! Бедности социальной структуры — в ней и заключался общий идеал славянофилов и западничества — должна неизбежно соответствовать бедность национальной культуры. И мы, действительно, видим, что и славянофильство, и западничество — оба они отделяли нас от нации, к которой приближала нас Империя.

«Простонародное» не только не составляет нации, но вообще оно не может создать ничего: ни государства, ни культуры, ни воли к общему действию, ни даже языка. Простонародное — это: «мы — калуцкие», нация же — хотели бы мы того или не хотели — создается и живет не простонародным, ибо нация не только не есть простонародное, но она не есть даже — общенародное. Отдадим себе полный отчет в том, что она, в известном смысле, вообще не есть «народное». Она есть нечто *сверхнародное*. Признаки нации проникающие все ее существо, суть *градация и отбор*. Именно в них заключается ее живая душа и настоящая сущность. Соответственно с этим, новейший исследователь историко-философских основ «нации» — Николай Бубнов и называет это понятие — ярко аристократическим. В свою очередь Lagarde говорит, что выражение «нация» имеет в виду не массу народа, но более или менее крупную группу избранных личностей, духовную аристократию. «Вопреки господствующему мнению, — пишет он, — нации не состоят из миллионов; они состоят из отдельных людей, сознающих национальные задачи и именно поэтому способных, встав впереди нулей, обратить их в действительную величину».

Но кто же создал, взлелеял и вскормил Российскую На-

цию? Кто вдохнул в нее жизнь и кем она была жива? Не ясно ли, что наша нация не только олицетворялась, но и была создана Империей и жила и дышала исключительно ею, что она была у нас ничем иным, как ее синонимом, что Империя и была нашей нацией, что только она и давала нам национальное лицо.

Нацию рождает не кровь, а право гражданства, или, что то же, — *победа*. Об этой-то Победе — духовной, культурной и политической — мы должны думать денно и нощно, если желаем восстановить Россию.

При этом мы должны непрестанно помнить, что Россия — нация, Россия — великая держава и Россия — цивилизация и культура — неотделимы от Европы. Как нация, как государственность и как культура, мы всегда были частью Европы. В этом отношении мы всегда были ее детьми, ее законными сыновьями. Одинаковы с европейскими не только все основы нашего культурно-национального бытия, но и все наше историческое развитие проходило как раз через те самые этапы (и приблизительно одновременно), как и эволюция западноевропейских стран. Итак, если наше национальное развитие совершалось по обще-европейскому историческому образцу, то в чем, спрашивается, заключалась и заключается доселе разница между Западом и нами? Такая основная черта отличия, и притом отличия огромного, — действительно существует. *Она заключается в природе основного этического субстрата, на котором возведена наша культурная и национальная постройка.* Мы были всегда единосущны Европе, как нация и как культура — так было и до Петра, но это стало еще яснее после Петра. Но вместе с тем мы были всегда ей чужды и поднесь остаемся ей чуждыми — как этническая стихия. На Западе эта стихия представляет наследие римского мира, т. е. многих тысячелетий древне-восточных и античной культур. У нас же... у нас никогда не было римского мира, мы, по словам Чаадаева, еще сравнительно недавно родились в кочевой кибитке скифа.

Таким образом и становится ясным, что «самобытность», обоготворенная славянофилами и всеми нашими на-

родниками, есть не что иное, как наша скифская бездна, ужас которой и заставил нас некогда обратиться к варягам. В этой бездне — все центробежные безумства, вся «первобытность» нашей истории. И плоть от плоти и кровь от крови этого этнического хаоса — есть наша проклятая Богом «общественность».

Идеологи «самобытного» самодержавия и «мужицкого царя» отправлялись несомненно от мысли возвеличить царскую власть. Но они пошли неверным путем и попали в заповеданный круг. Самодержавие только то и делало, — и в этом и заключался действительный смысл его бытия, — что боролось с нашей темной этнической стихией. Между тем, по «самобытной» теории, выходило, что именно от ее духа оно родилось. Так-то в идеологии «самобытного» самодержавия уже заключался отказ от Петербургской программы, т. е. от борьбы с этнизмом, и, значит, его прославление. Начав с Самодержавием «за здравие», славянофилы в действительности свели его дело — «за упокой». Нельзя прославлять одновременно и Самодержавие, и темную этническую бездну, которая всегда противостояла ему. Неумолимая логика жизни вывела из всего этого единственно возможное заключение: торжество славянофильской Реакции привело к усилению «общественности», и провозгласив «самобытность» первым членом своего Символа Веры, мы пришли туда, куда неизбежно должны были придти, идя по этому пути: к Революции, к большевикам, к разрушению Империи и Нации, к потере своего христианского лица и чуть ли не всего своего духовного и материального богатства. На нашу беду, славянофильские тенденции в свое время чрезвычайно затемнили для Запада ту истину, что все творческие ценности жизни: нация, просвещение, культура, героический порыв, народный труд — были у нас теснейшим образом связаны, как с идеей, так и самым материальным фактом существования царя. И так как основной задачей Революции было доказывать, что как раз в царе заключалось главное препятствие к осуществлению всех положительных ценностей, то Европа очутилась в борьбе двух сил нашей «общественности», как между двух

огней. Удивительно ли, что она не могла понять сущность этой борьбы, когда мы сами так долго ее не понимали, да и понимаем ли еще даже и сейчас?»

На этот вопрос Салтыкова, к нашему величайшему несчастью, очень многие и теперь могли бы добросовестно ответить: нет, не понимаем. Не поняла ничего в этом до сих пор и Европа, кстати, вернее же совсем некстати, переживающая ныне глубочайший социальный, экономический и духовный кризис. Призванная же обстоятельствами к пониманию русских дел, Америка собирается, по-видимому, в виде посильной помощи и миру, и нам, продлить столь успешно начатый еще Вильсоном, преступный опыт по самоопределению народностей.

Итак, возлагать надежды на иностранную помощь, пожалуй, еще и рано, особенно после немецких опытов, столь позорно и заслуженно провалившихся. Что же касается нашей левой «общественности», то всякие попытки объединения с нею следовало бы бросить давно. Нам остается лишь снова напомнить уже дважды опубликованное Салтыковым обращение:

«Эти строки, — писал Салтыков, — обращены не к господам революционерам, а к нашим консерваторам. Революционеров все равно ни в чем не убедишь. Как показывает опыт разных «Парижских совещаний» и революционных правительств, временного, Деникина и т. д., русские революционеры, подобно Бурбонам, ничего не забыли и ничему не научились. Они безнадежны. Но и консерваторы могут легко проиграть свое дело, т. е. дело России, дело Империи, а потому обращаюсь к ним и говорю: господа, пересмотрите, пока не поздно, свои тезисы и создайте целостную, органическую, опирающуюся на жизнь и историю программу. Эта программа должна быть не националистскою, а имперскою, не русскою, а *Российскою*. Но для того, чтобы создать такую органическую программу, следует прежде всего уяснить себе возможно отчетливее — что такое была старая, настоящая Имперская Россия, которую отчасти вы сами проиграли в игре в «самобытность» и «исконные начала». Поднимитесь

же из низин темного этнизма на светлые высоты нашей былой Империи.

Империя не знает, не может знать партий, ибо она есть единение. И нам нужна не партия, а единение. Но если и для единения необходимо имя, как постоянное напоминание о его цели, как вечно звучащие его пароль и лозунг, то трудно нам придумать лучшее имя, чем — Всероссийский Имперский Союз».

Так писал Салтыков. Однако, всецело приняв обоснованную Салтыковым имперскую идеологию, «Возрождение» не только всегда смягчало некоторые его мнения, но и вызвало к жизни, как некое женственное дополнение к суровому имперскому учению, иные чувствования, иные привязанности. И от художественных произведений некоторых писателей, постоянных сотрудников «Возрождения», шли нити, непосредственно воссоединявшие нас с Родиной-Матерью и тем неизменно напоминавшие нам, что не одним суровым созиданием, не одной великолепной действенно-мужественной силой, идущей на нас извне и нисходящей к нам сверху, живо человеческое сердце, но что оно любовно приникает к истокам родимой земли и что Богом данная человеку искра жива не только в творцах и строителях, не только в элите, в духовной аристократии, в нации, внутренней волей своею превращающих искру в неугасимое пламя, но и в народе, в простонародье, в любом, по выражению Салтыкова, этническом субстрате. Ведь падший, грехом раздробленный Адам не только ропщет и бунтует, не только стремится к разрушению и самоистреблению, но и любит землю, его породившую, сам призывает на себя благословенное насилие извне и сверху во имя порядка и приобщения к свету. Все пассивное, все слепо бунтующее, восстающее, анархическое ждет неосознанно волевого вмешательства. И это прежде всего и в высшей степени характерно для русской этнической стихии. Отсюда историческое, ставшее знаменитым, наше обращение к варягам. И всякий русский человек, наделенный религиозным чувством, в особенности простолюдин, если бы только проник он в собственную душевную

глубину, мог бы сказать о себе: я монархист, потому что я анархист.

В замечательных рассуждениях Салтыкова есть много драгоценных находок, но есть и существенные недостатки, недомолвки, есть даже одна важная ошибка, влекущая за собою другие. По его убеждению, племя, как таковое, решительно представляет собою *tabula rasa*, на которой можно написать все, что угодно. Он так и пишет в одной своей прекрасной статье, озаглавленной «Раса и племя» и напечатанной в «Возрождении». Впрочем, в той же статье Салтыков оговаривается. Совершенно справедливо отмечая, что «племена не суть духовные соединства», он прибавляет: «это не значит, что племя безусловно лишено духовной жизни. В племени, несомненно, заключены некоторые умственные и типические предрасположения. Но здесь дело может идти в лучшем случае лишь о некоторого рода «склонностях», в общем довольно смутных и неопределенных».

Сказанное Салтыковым о племени служит лишь добавлением к словам Константина Леонтьева: «Что такое племя? — бесплодие духовное!»

Да, само по себе все пассивное бесплодно, но это еще не значит, что оно не ждет и не хочет своего оплодотворения.

«Самые способные этнические элементы, — пишет в той же статье Салтыков, — имеющие, казалось бы, все, что нужно для всестороннего развития, не могут сами по себе и из себя ничего создать, т. е., если они не одухотворены творческим дуновением нации».

Это бесспорная и абсолютная истина. И все же одним актом победного и плодотворного насилия, производимого нацией над племенем, дело не исчерпывается.

«Нация, — продолжает Салтыков, — нечто не только отличительное от племени, но уже по самому своему существу ему противоположное и враждебное. Нацию можно, строго говоря создать не «на основе» племенных элементов, но лишь против них, т. е. борясь с ними. И не нам ли,

«птенцам Петровым», знать это лучше, чем кому бы то ни было!»

И здесь Салтыков говорит сущую правду, кстати, очень смелую по нашим чрезмерно демократическим серым временам. На основе племенных элементов решительно ничего не создашь. И все же, настойчиво и справедливо подчеркивая элемент борьбы и вражды, Салтыков не хочет заметить во взаимоотношениях нации и племени весьма существенно. Ведь если, по его собственному прекрасному слову, культура есть любовь, то и приносится она мужественным, действительным началом — нацией и принимается, усваивается, началом женственным, пассивным — племенем, не только во вражде, борьбе и насилии, но и в процессе некоего духовного бракосочетания. Принимая культуру, раздробленный грехом Адам — этнический субстрат, приобщается одновременно к чувству любви. А так как самый ход, самый процесс культивирования бунтующей этнической стихии, длится веками, прерываясь только жестокой военной или революционной катастрофой, постарением и гибелью нации, то в своем абсолютно голом виде племя существует лишь в отвлечении, в представлении. На самом же деле, в жизни, благодаря именно своей пассивности, косности, оно всегда несет в себе искаженные обрывки, когда-то привитых ему ныне погибшими элитами, культур. К слову сказать, в этом искаженном, пассивном запоминании племенем остатков прежнего, не им созданного, культурного величия и состоит так называемое «народное творчество». Таким образом, Пушкин создавал свои сказки совсем не на основе народного творчества, вовсе не существующего, — он лишь подбирал и по своему воссоединял заново обрывки прежнего теремного и жреческого искусства, задержавшиеся в памяти косного простонародья. Однако, пассивное запоминание уже обнаруживает в племени желание воспринять творческое дуновение нации. Не будь этого желания, нация имела бы дело в лице народа не с живыми людьми, а с мертвыми душами, с автоматами, нагальванизованными ею трупами, и сама обрати-

лась бы в пустое, внежизненное отвлечение, повисшее в безвоздушном пространстве.

В косности, в неподвижности племени, содержится какая-то, не ему принадлежащая, не им добытая, но в нем присутствующая божественная мудрость. Действенная, творческая верхушка, в силу своей динамичности, своего устремления в будущее, забывает далекое культурное прошлое; но о нем помнит, пусть искаженно и тускло, этническая стихия. Она сохраняет его в себе в латентном состоянии, как потенцию, как возможность, своего обновления, преобразования, через властное вмешательство нации.

Присутствие именно такой божественной мудрости в тайниках русской простонародной души подразумевал Достоевский, говоря о народе-богосце. Конечно, до конца прав Салтыков, утверждая, что русская и российская историческая государственная власть, как, впрочем, и всякая другая, никогда не могла быть самобытной, созданной народом, но при всем своем справедливом преклонении перед варягом, перед властью Рюриковичей, московских царей и российских императоров, принесших с собою в наше отечество благодетельный европейский абсолютизм, он все же недооценил великой силы воздействия, оказанного на народ нашей исторической властью, в особенности, самодержавием 18-го и первой половины 19-го веков.

Начиная с Владимира Святого, эта власть упорно, долготерпеливо, неотступно прививала, насаждала и укрепляла христианство в русской простонародной душе. В этом и состояла ее задача ее единственная конечная цель. Задача чрезвычайно трудная, по причине особо диких и буйных свойств русской этнической стихии, не подвергавшейся до толе, в отличие от западноевропейских этнических элементов, никакому влиянию греко-римской и древних восточных культур. И все же, трагическим усилием (подлинная государственная власть, по существу своему, вырастает всегда из трагедии) великокняжеская, царская и, наконец, императорская власть свою задачу выполнила. Она так сумела привить русскому дичку христианские начала, что даже зоркий

взгляд Достоевского, и не его одного, принимал в русской народной душе привитое за приращенное. Вопреки нашей пугачевщине, на которой возвели свое сатанинское владычество большевики, в душе русского простолюдина, благодаря самодержавной власти, навеки запечатлелся образ Христов, к слову сказать, в последние сумеречные десятилетия Империи забытый распадавшейся российской верхушкой, подменившей его сусальной, стилизованной славянофильской выдумкой.

Образ Христов, скрытый теперь в последних глубинах народной души, тем более укрепился там, что большевистская лжевласть осуществление не номинального, но настоящего социализма — показала народу на деле до чего доводят и к чему приводят темные инстинкты пугачевщины, оседланной и сознательно управляемой богоборческой силой. Недаром предпочитал Константин Леонтьев воцарению самодовольной, серой, духовно бездарной демократии крайний и кровавый социалистический опыт, наглядно показывающий, как мы это знаем теперь, безумие и ужас отпадения от церковных устоев и органической государственности.

Доказательством от обратного, внедрением в русскую жизнь международного отребья, вмешательством в нее большевиков, — варяга навыворот, — может быть, спасется теперь Россия. Константин Леонтьев, предвидевший русскую революцию, предсказавший все ее фазы, думал и надеялся, что кровавый социалистический опыт приведет нас к своей противоположности и может быть навсегда предохранит нас от заболевания, разъедающего на наших глазах западноевропейскую государственность, заболевания, называемого эгалитарно-демократическим прогрессом, политической партийностью, возведенной в принцип, в призрак «свободы», на самом же деле ведущей к смерти через безвозвратную утрату духовной органичности.

Чаяния Достоевского встретились с упованиями Константина Леонтьева: автор «Бесов» верил, что крайний революционный социалистический опыт, проведя нас через все ужасы безбожья и, следовательно, телесного и духовного

рабства, навсегда исцелит Россию от бесноватых и бесовщины. Так, в пределе, вернее же в беспредельности страданий, постигших Россию, культ Отечества, проповеданный Константином Леонтьевым, сливается воедино с культом Матери-Родины, завещанным нам Достоевским. Идеи Отечества и Родины равно обновляются в страдании и становятся единою, во веки нерасчленимую *Идеей*.

Салтыков, несмотря на свое глубоко оправданное преклонение перед российской исторической властью, недооценивал, как я уже говорил, ее воздействия на народ, на русский этнический субстрат. Недооценил он и силу большевизма и определяя его суть, его истоки, отождествил его с действительно присущими русской народной душе анархией и хаосом.

«Большевики несомненно сделали очень много зла, — писал Салтыков, — но неизмеримо сильнее зло сидящего в каждом из нас застарелого первобытного большевизма, который и послужил главной причиною успеха большевиков. Большевики опираются на проклятый максимализм русской души, на ее анархический хаос. Этот хаос, эта религия нигилизма призвала их к власти, и она же удерживает их у нее».

Да, несомненно, большевики долгое время пользовались русским хаосом, пугачевщиной, они опирались на наш максимализм. Но именно поэтому нельзя называть русскую анархию и хаос большевизмом. Они инопланнны ему, они стихийны, зоологичны, греховно-душевы, а большевики и страшные дела их сознательны, систематизированы, злодуровны. Наши грехи, пороки и преступления отдают нас во власть дьявола и его приспешников, но это еще не значит, что мы сами дьяволы слугители. Нет, приближают нас к бесовщине, к одержимости, не вожделения этнической стихии, но лишь вполне сознательный, систематизированный, интеллигентский нигилизм. Первые большевики — Ленин, Троцкий, Чичерин и многие другие — были типичнейшими русскими интеллигентами-нигилистами. Только безрелигиозное, атеистическое сознание, порождающее и оправдывающее внежизненные, мертвые абстракции, ведет человека к

большевизму, к полной, бесповоротной духовной гибели. Но психическое, душевное падение может быть искуплено раскаянием, отказом от греха.

Салтыков ошибочно называет русскую тягу к анархии и хаосу «первобытным большевизмом». Все первобытное, варварское — натурально, природно, а большевизм, будучи явлением беспримесно-злодуховным, внеприроден, он не имеет земных бытиевых корней и по самой своей сути он — паразитарен. Большевик по отношению к русскому народу — варяги навыворот, интервенты наоборот. Большевиков прекрасно характеризует маленький пассаж из Гоголевского «Ревизора». На вопрос слуги городничего Мишки — скоро ли прибудет генерал, т. е. Хлестаков, Осип, слуга Хлестакова, отвечает вопросом:

— Да какой он генерал?

— А разве не генерал?

— Генерал, да только с другой стороны.

— Что ж это, больше или меньше настоящего генерала?

— Больше.

— Ишь ты как! То-то у нас сумятицу подняли.

Большевики есть нечто большее, чем русская пугачевщина и анархия. Они вообще являют собою наибольшее зло. Принимая их за генерального ревизора нашей совести, возжелавшей пресловутой социальной справедливости, мы на радостях подняли сумятицу. Но большевики не сумятица, не анархия, не хаос, но величайшая дьявольская ложь, приведенная в систему, подмена любой реальной правды лживым подобием истины. Они — лжерелигия, лжеимперия, лжегосударственность, лжевласть, лжеиерархия и одновременно лжеравенство. Им удалось установить на земле адов прообраз. Но живая человеческая душа не хочет ада, и большевики стремятся обратить живого человека в послушный автомат, вытравить из него образ Христов, проделать над русской душой опыт, прямо противоположный вековым устремлениям церкви и самодержавия. И в этом противополжении, судя по сливающимся воедино чаяниям Константина Леонтьева и Достоевского, залог нашего грядущего спасения.

Душа целого народа раскрыла свои тайники и воочию показала миру правоту Достоевского, утверждавшего, что душа человека — арена борьбы Бога и дьявола. Но исход такой, для всех теперь явной, борьбы тем самым предрешен заранее. Ведь именно потому, что тайное стало явным, изобличается и изживается зло, обнаруживается дьявольская суть большевизма, а по пути и злая немощь, бледная немощь так называемого эгалитарного демократического прогресса, завещанного нам братоубийственной французской революцией.

Преклоняясь перед деяниями отцов, возвеличивая Отечество, Салтыков, вслед за Константином Леонтьевым, как бы совсем забывал о глубинах Матери-Родины и ее женственной плодоносящей сущности. Как для Константина Леонтьева, так и для Салтыкова, зиждательная Идея, насаждаемая и прививаемая отцами, творческие деяния отцов, Отечество, дороже России-Родины, России-Матери. Салтыков мог бы повторить, да часто и повторял, вслед за Константином Леонтьевым:

«Я не понимаю французов, которые умеют любить всякую Францию и всякой Франции служить. Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения и Россию всякую я могу разве, по принуждению, выносить. Избави Боже большинству русских дойти до того, до чего шаг за шагом дошли уже многие французы, т. е. до привычки служить всякой Франции и всякую Францию любить... На что нам Россия не монархическая и не христианская»

Думая и говоря так, прав ли был Константин Леонтьев, а вслед за ним прав ли был Салтыков, открыто присоединявшийся к таким утверждениям?

Пишущий эти строки нисколько не хочет скрывать, что и сам он подвержен тому же соблазну, тому же искушению. Да и только ли здесь один соблазн, только ли одно искушение? За словами Константина Леонтьева стоит уже сама по себе великая, решительная и мужественная правда. И надо прямо, раз и навсегда признать, что русское народничество реакционного и революционного толков, всех видов и подразделений, принизило и опозорило самое идею Родины,

превращая народ — начало биологическое, от века или бунтующее, или пассивно ожидающее своего духовного оплодотворения, — в самоуправного вершителя собственных, неизменно бездарных и серых судеб.

Замечательные положения, мысли и открытия Салтыкова потому заострены до непримиримости, что нужна же была резкая отповедь, суровая реакция в ответ на подмену, совершенную правыми и левыми народниками, подмену духовно аристократической идеи нации призрачным домыслом о суверенности черного народа, толпы.

Российскую Империю, погубили призраки и домыслы, вызванные из небытия, из ничтожества, болезненным, но дружным натиском интеллигентской, разночинской и барской фантазии.

Совершив подмену, мы предрешили тем самым революционный декаданс и деградацию, ибо революция и есть не что иное, как злостное деклассирование людей и идей, неизменно свершающееся в двух направлениях — вниз и вверх. Причем человек, дотоле стоявший на одной из верхних ступеней социальной иерархии, будучи сброшен революцией вниз, хоть и чувствует себя и в тесноте и в обиде, но внутренне остается самим собою, себя духовно не утрачивает. Зато горе человеку, внезапно вознесенному революцией из низин на высоту. При таком незаконном, каррикатурном взлете, он неизбежно теряет собственную личность, становится пародией на самого себя, обезьяной, имитирующей человеческие жесты, попугаем, механически повторяющим непонятные ему слова.

Что же касается самих идей, смещаемых, деклассируемых революцией, то они бесповоротно лишаются, в ходе революционных событий, своего реального содержания. Так, например, христианская идея любви к ближнему, искусственно перенесенная из внутреннего, личного мира каждого отдельного человека во внешний социальный план, незаконно обобщается, превращается в абстрактный, внежизненный домысел о несуществующей любви к дальнему.

«Возрождение» потому давало волю колющимся заост-

рениям Салтыкова, что не только считало необходимым, но и ощущало внутреннюю повелительную потребность дать решительный и одновременно органический отпор всем злокачественным народническим чувствованиям и теориям, погубившим наше Отечество. В сущности, «Возрождение» ничего отвлеченно не учитывало и не рассчитывало. Оно, прежде всего, жило своей сложной органической жизнью, являло собою в душевном и духовном отношении живой организм.

Оно было умственно-сердечным центром, средоточием белой идеи, добытой подлинными россиянами кровью, страданием и жертвой.

Коренные возрожденцы не могли и не хотели отделить всего умственного от сердечного и вместе, в целом, они были соборным организмом, отражающим чаяния не интеллигентских теоретиков, а русских людей, прошедших через жизненно-действенный трагический опыт. Потому, между прочим, дало место «Возрождение» рудиментарным, подчас вульгарным статьям Сазановича, расчищавшим в ударном контрреволюционном порядке идейные пути и перепутья, загаженные писаниями Чернышевских и Добролюбовых. Статьи Сазановича были уступкой, сделанной «Возрождением» законным требованиям рядовых участников гражданской войны. Однако, эти статьи, как и политическая полемика с «Последними Новостями» Милюкова и вообще с левой печатью, были для «Возрождения» лишь внешним эпизодом, данью злободневности. По существу же своему, оно было неизмеримо выше и глубже того, что принято называть ежедневной и еженедельной газетой. По настояниям своего издателя, «Возрождение» называлось печатным органом русской национальной мысли. Таким оно поистине и было. Серьезнейшие политические, историософские и литературные статьи, повести и рассказы, печатавшиеся в «Возрождении», возводили его на уровень наших лучших ежемесячных журналов доброго царского времени. В этом, и не только в этом, большая заслуга А. О. Гукасова. Он сразу же понял, что в зарубежных условиях русская эмигрантская газета должна

принять новые формы, новое, необычное для ежедневной печати содержание.

В своей глубине понесло «Возрождение» отображение Креста, свыше данного русским людям во искупление революционных злодеяний.

О Кресте, возложенном на нас, первым в «Возрождении» явно заговорил Борис Зайцев. Этот русский писатель, по свойствам своего глубоко лирического дарования, далекий от политических бурь и битв, этот художник слова, возмущенный, потрясенный всем нам памятным похищением Кутепова, в порыве скорби и негодования подлинно вышел из себя, порвал заповедный круг искусства и сказал нечто важное и глубокое о нашей горестной жизни, о нашей русской, столь необычайной и страшной судьбе. Свою заметку в «Возрождении» Борис Зайцев так и озаглавил: «Крест».

«...На Кресте наша Родина, что говорить: распинают ее, на наших глазах распинают, что ни день, глубже вбивают гвозди. Не снегами занесло, страшная, клубящаяся туча, с дьявольским заданием: «в пять лет все «дезинфицировать», все уничтожить, выморить... голого дикаря посадить на престол славы.

...Сейчас страдные дни для нас русских. На какое ни гляди небо, на какие каштаны, озера — облик Креста заслоняет все. Он дан нам теперь здесь просто, зрительно: человек с черной бородой, которого на днях еще встречали в церкви, сильный, крепкий, упорный — ныне принял этот Крест, за Россию и за нас всех. В хмурый вечер, сырой и туманный, был я на молебне в церкви галлиполийцев. Вот уж где нет «туалетов». Шоферы, рабочие барышни, дамы в потертых пальтишках, без завтрашнего дня, без текущих счетов, — мы стояли и молились «о здравии воина Александра», и надо верить, и надо молиться, сколько бы ни было сердце «*mag grosso*». «Слышишь ли меня, батько?» — спросил Остап. «Слышу, сынку!» — отвечал Тарас Бульба. Было ощущение: да поддержит ток добра, из Церкви излучавшегося, «воина

Александра» в горчайшие, может быть самые грозные минуты его. Если же жизни физической, страшного марева, в котором бьемся, уже для него нет, то в ином, верим, светлейшем, чем наш, мире да сольются наши чувства, в таинственных излучениях своих с его душою.

Я почти не знал лично Кутепова — раза два-три приходилось здороваться. В церкви галлиполийцев видел супругу его — Л. Д. Кутепову — Голгофу живую. И теперь все это стало своим, как бы родным. Мне не важно знать, такой или этаким был Кутепов, сколько у него врагов, сколько друзей. Сейчас он — знамя мученичества, знамя России распинаемой, он не может, не может не быть своим каждому русскому... Горе сближает, но и проводит грань. Кто с тобой чувствует, тот свой. Кто против тебя, от того отойду. Пусть он отличное, он уж *не мой*.

— Ну и что же дальше? — спрашивает некто. — Что делать с этой общностью чувств? Вообще: что делать, чего ждать?

— Делать?.. Все то же, что делали...

А дальше идет вера. В силе — ждать. Не вечно так будет. Из скопившегося может грянуть такой гром, такая молния, что зашатается сатанинский престол. Когда это будет — не знаем. Но нас этот час должен застать бодрствующими, не расслабленными и не падшими.

Кутепову дан Крест тягчайший. У каждого из нас есть свой, меньший и больший, но отказываться от него нельзя — а друг друга поддерживать и ободрять, живить — необходимо».

Повторяя выражение Бориса Зайцева, оброненное им о Кутепове, скажем и мы о «Возрождении», что оно всегда хотело быть и было знаменем России распинаемой. И это ставило его неизмеримо выше злободневности, ибо ужас, творящийся в России, есть не злоба дня, но вечное дьявольское зло, испытующее нас во времени.

И я уверен, что и Струве, и Семенов, и все коренные возрожденцы, ныне покойные, безоговорочно согласились бы с моим определением духовной сущности «Возрождения».

Согласятся со мною и оставшиеся в живых ближайшие сотрудники «Возрождения». И несомненно первым из них согласится с нами Борис Зайцев, скорбные, крестные слова которого я только что приводил. Эти крестные слова определили духовное средоточие «Возрождения». Осветили они для нас и нечто важное в творчестве самого Бориса Зайцева. Он всегда избегал так называемых публицистических выступлений и изъявлений, он хотел быть и неизменно оставался только художником. А художество не терпит грубой прямолинейности, не выносит, хотя бы и самых искренних, чувствительных излияний и откровенностей. Искусство сдержанно, иносказательно, символично и потому сокровенно. Оно живет оформлением, любит строгие пределы. Оно в лучшем значении этого слова ограничено, ибо вдвинуто в грани. И тот, по утверждению Гете, не художник, кто не умеет себя ограничивать. Тем многозначительнее и ценнее бывает неожиданный выход художника из заповедного круга искусства, вызванный непосредственным созерцанием свершающейся в жизни трагедии, острой жалостью и состраданием.

Кроме своего художества, вопреки уверениям критиков совсем не «задушевного», не «вдумчивого» и не «теплого» и, следовательно, не мягкотелого, а напротив того, сосредоточенного в себе, зоркого и подобранного, Борис Зайцев, сострадавая Кутепову — «знамени мученичества, знамени России распинаемой» — оставил «Возрождению» еще и частицу собственного живого и трепетного сердца, внезапное отражение своего человеческого «я». Свет этого обычно сдержанного «я», разливающийся в творчестве Зайцева ровно и волшебным образом, приняли критики за «теплоту» и «задушевность». Между тем, суровая словесная дисциплина, обретенная Зайцевым на путях его долгого служения искусству, оказалась столь нерушимой, что даже изменяя в порыве скорби обычным для него формам повествования, переживая открыто горькую судьбу Кутепова, он не забыл основных заветов художества — градации и отбора, достигаемых в искусстве неумолимым вкусом и осуществляемых в жизни, прежде всего, строгим в своей правдивости религиозным чувством.

Глядя в поглотившую Кутепова бездну, скорбя и сетуя, Зайцев не потерял духовного самообладания и нужный отбор произвел: «кто с тобой чувствует — тот свой, кто против тебя — от того отойду. Пусть он отличное, он уже не мой».

Нации состоят не из миллионов, но из отдельных избранных. Своим искусством, своим словом о знамени России распинаемой, Борис Зайцев показал, что он и есть один из этих избранных — художник тонкий и глубокий, верный служитель белой идеи, — достойнейший сотрудник «Возрождения».

Вот краткие, сухие сведения о жизни и литературной деятельности Бориса Константиновича Зайцева, по моей просьбе им самим любезно мне предоставленные:

«Я родился в Орле, 29 января 1881 г. Раннее детство мое прошло в Калужской губ. — отец управлял Людиновским заводом (он был горный инженер).

В 1898 г. я окончил Калужское Реальное училище, затем учился в Имп. Техн. училище в Москве, в Горном институте, Московском университете, но дорогу свою нашел лишь в писательстве.

На первых порах поддерживали меня тут А. П. Чехов и Л. Н. Андреев — о них сохраняю благодарное воспоминание. В 1901 г. в московской газете «Курьер» появился мой первый рассказ. За ним следовали другие. В 1902 г., после рассказа «Волки» в сборнике кружка «Середа», меня приняли в этот кружок, где главенствовали писатели уже известные: Андреев, Бунин, Вересаев, Телешов, а наезжая в Москву, появлялись Чехов, Горький, Куприн, Короленко. В серьезном, благожелательном воздухе этой «Середы» и прошла моя литературная юность.

В литературе я выступил под знаком импрессионизма и лирики — с маленьким «бессюжетным» рассказом — поэмой. Первая моя книжка вышла в 1906 г. в изд-ве «Шиповник» (СПб). В первый же год разошлось три ее издания, критика приняла ее хорошо. Открылся путь во все толстые журналы того времени, но главнейше печатался я в альманахе «Шиповника» и др. молодых и модных изданиях.

В 1902 г. женился на В. А. Орешниковой, дочери известного московского нумизмата А. В. Орешникова. В 1917 году, во время войны, окончил Александровское военное училище, был выпущен в 192-й пех. полк и летом того же года переведен в артиллерию, но на фронт не попал: война кончилась.

В 1922 г. с женою и дочерью уехал в Германию. В Берлине в том же году вышло собрание моих сочинений, в шести книгах — повести и рассказы, в изд. Гржебина. (Первый же роман «Дальний Край» появился в России еще в 1914 г., позже тоже в Берлине, в изд. «Слово»).

Проведя год в Германии и четыре месяца в Италии, я поселился с семьей в Париже, где и печатался в разных изданиях, выпускал и отдельные книги. Тут вышли мои романы «Золотой Узор», «Анна», «Дом в Пасси», сборник рассказов «Странное путешествие». А также «Жизнь Тургенева», «Преп. Сергей Радонежский», «Афон», «Валаам» и пр. Наконец, самое обширное мое произведение — «Путешествие Глеба» (трилогия: «Заря», «Тишина», «Юность»).

Более крупные мои вещи печатались обычно в «Совр. Записках». Мелкие и отрывки из крупных главным образом в «Возрождении» — в течение почти пятнадцати лет. (Большая часть «Афона», весь «Валаам», части «Тургенева», «Путешествие Глеба»). Вел я там также «Дневник писателя» — поместил ряд фельетонов, преимущественно на литературные и религиозные темы. В издательстве же «Возрождение» вышли две упомянутые выше мои книги — «Странное путешествие» и «Тишина». Сотрудничая сейчас в газете «Русская Мысль», печатаюсь и в тетрадах «Возрождения», связан давними и добрыми отношениями и с издателем его, и со многими сотрудниками. Многих из сотоварищей довелось проводить в жизнь вечную — совсем недавно И. С. Шмелева. Неизвестно, кто кого будет провожать дальше, во всяком случае многолетняя, теперь уже тридцатилетняя связь не порывается.

Многие мои книги и произведения переведены на иностранные языки (франц., англ., немецкий, итальянский и др. Также на японский). В России, в начале революции, я был Председателем Москов. Союза Писателей (без коммунистов). Ныне состою Председателем Парижского.

16

Как это ни странно, как это ни парадоксально на первый взгляд, но развитию имперской идеологии в «Возрождении», хотя невольно и косвенно, а все же значительно помогали литературные статьи В. Ф. Ходасевича. Конечно, политически Ходасевич был чужд «Возрождению». Он в свои молодые годы воспитался в среде писателей-символистов, создававших у нас в самом начале XX века новую, во многом ценную и плодотворную литературную школу, вернее же литературное течение. Но если эстетически удалось символистам победить рутину, казалось навсегда утвердившуюся в русской литературе конца XIX века, то политически, по крайней мере по видимости, они ничем не отличались от партийных рутинеров 80-х годов и пребывали по старинке интеллигентскими либералами, идущими, по наивности и по разным сторонним соображениям, в хвосте революционного радикализма (Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, Андрей Белый, Блок), или же превращались до поры до времени, как например В. Брюсов, в черносотенцев по расчету. Словом, политический облик символистов частично зависел от чисто внешних обстоятельств, частично же от рутины и от сознания непроверенных, воспринимаемых эмоционально народнических веяний. Говоря вообще, символисты сознательно и бессознательно содействовали у нас политическим шатаниям, государственной неустойчивости.

Однако, помимо политики, религиозно-эстетические верования вели символистов к первоисточкам российской литературной культуры, преимущественно к Державину, Пушкину, Баратынскому, Лермонтову, Тютчеву, Фету, Случевско-

му, Гоголю и Достоевскому. В борьбе с утвердившейся у нас в 80-х годах прошлого века беспросветной порожденной в литературе предвзятой идейностью, символисты научились воспринимать по новому форму, а следовательно и содержание, творений российских классиков. Подобно нашим иконографам, снимавшим с древних икон позднейшие ремесленные наслоения красок, они словом живым и новым счищали с произведений прежних писателей и поэтов серую шелуху, образовавшуюся на них от варварских разглагольствований Чернышевских, Скабичевских и Михайловских. Хотели ли того символисты или нет, — вернее всего, что не хотели, — но производимая ими религиозно-эстетическая реставрация русской поэзии и художественной прозы неминуемо приводила к восстановлению подлинного человеческого, политически-государственного и сословного облика каждого из наших вечных спутников. Под спадающей шелухой обнаруживался цельный, нетронутый тлением, образ великого творца, сословного и государственного человека, представление о котором искажено лишь в нашем воображении, разращенном писаниями Белинского, принятыми к руководству нашей средней и высшей школой.

Политические воззрения Ходасевича, никогда не порывавшего с духовными традициями символистов, все же вряд ли установились окончательно даже в его зрелые годы. Во всяком случае они во многом зависели от различных новонароднических идей и теорий и были чуждыми белой идее и имперской идеологии, развиваемой «Возрождением». Но религиозно-эстетический путь, некогда проложенный символистами и вслед за ними избранный Ходасевичем, был верен и привел этого поэта к глубокому пониманию словесного искусства, в частности, к безошибочному постижению и толкованию творчества Державина и Пушкина. Нужды нет, что временами, вспоминая о своих демократических воззрениях, он пробовал довольно неискустно приписать Державину политические мнения, всячески ему чуждые. Образ Державина, как поэта, сановника и человека, весь до глубины пронизан державными токами; он насыщен не отвлечен-

ными интеллигентскими принципами, но российскими имперскими флюидами. Напрасно, подражая своим старшим литературным собратям, пытался Ходасевич приписать Державину несколько вольное отношение к монархической идее и к самой особе богопомазанного монарха. По словам Ходасевича, Державин с годами утратил веру в ореол религиозного освящения, присущий самодержцу, и стал поборником уже не Богом, а всего лишь законом утверждаемого, демократически справедливого мужицкого царя. Но ведь все существо Державина, как поэта, сановника и человека, противоречит такому, его именем производимому, отделению религиозных начал от основ государственных.

Говоря о Пушкине и его творчестве, Ходасевич прибегал временами к иному приему: он по возможности старался умолчать о любви Пушкина к сословному аристократизму, которым, как известно, поэт дорожил чрезвычайно и совсем не случайно. Любовь к самой идее строгой сословности была непосредственно связана у Пушкина с его имперскими чувствованиями, с его стремлением к сложному цветению в искусстве и государственной жизни, к цветению многообразно-цельному, либерально-консервативному.

Не всегда свободный от интеллигентского сектантства, Ходасевич, касаясь Державина и Пушкина, казалось, боялся взглянуть нелицеприятной правде в глаза. Он пытался «препарировать» особого, слегка интеллигентского, Пушкина и особого, отчасти народнического Державина. Но из этой попытки, к счастью, ничего не вышло. Верный в религиозно-эстетическом отношении подход к великим поэтам даровал Ходасевичу прозрачный и четкий язык, почти непогрешимый вкус и способность умного проникновения во все детали словесного искусства, в особенности стихотворного. Ходасевича, большого поэта и замечательного историка литературы, можно и должно назвать наследником пушкинской языковой культуры, разумея под языком стиль, построение речи, ее самую интимную ритмическую поступь.

Литературные статьи Ходасевича, систематически появлявшиеся в «Возрождении» в течение 12-ти лет, имели гро-

мадное влияние на русских молодых литераторов, развивавшихся в эмиграции. Эти статьи воспитывали в читателях вкус, напоминали им о дисциплине слова, а, следовательно, и духа, они неуклонно продолжали дело Пушкина и, тем самым, хотел ли того Ходасевич или не хотел, — дело Петра Великого.

По крови, со стороны отца, поляк, еврей со стороны матери, католик по вероисповеданию, Ходасевич был типичнейшим россиянином, порождением нашей имперской культуры, и никакие узко националистические соблазны не могли отклонить его от российских духовных предначертаний и связанной с ними нашей горькой эмигрантской судьбы.

Ходасевич умер 53 лет отроду, умер потому, что высказал, как художник, все то, что свыше было ему предназначено высказать, умер потому, что в глубине его существа, по собственному его выражению — «прорезываться начал дух, как зуб из-под припухших дёсен». И недаром Ходасевич, именно он, оставил нам в своей поэзии творческое определение метафизики старости, старческой духовной простоты и умудренности:

Когда б я долго жил на свете,
Должно быть на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей.

Какая может быть досада,
И счастья разве хочешь сам,
Когда нездешняя прохлада
Уже бежит по волосам.

Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша
И небом невозбранно дышет
Почти свободная душа.

«Владимир Фелицианович Ходасевич родился в Москве 29-го мая 1886 года, окончил III-ю Московскую гимназию, слушал лекции в Московском университете. Стихи начал писать с детства, печататься — с 1905 года. Первая его книга называлась «Молодость» (изд. Гриф), затем — последовал «Счастливый домик» (1914 г. изд. Альциона). Во время первой мировой войны переводил польских, армянских, еврейских поэтов; в 1920 году (в изд. «Творчество», Москва) издал третью книгу стихов — «Путем зерна», а в 1922 году — статьи о русской поэзии (изд. «Эпоха», Петербург).

До 1921 года жил постоянно в Москве. С этого года переехал в Петербург, где пробыл два года, после чего выехал за границу. Здесь жил сначала в Берлине, потом в Италии. С 1925 года окончательно поселился в Париже, а с 1927 года стал постоянным сотрудником газеты «Возрождение», где каждый четверг, вплоть до самой своей смерти, 14 июня 1939 года, писал на литературные темы обширные статьи, а также вел отдел литературной (советской) хроники, подписывая ее «Гулливер». Привлек в газету молодых сотрудников. Занимался в эти годы усиленно Пушкиным и Державиным, биографию которого издал. В 1927 году в издательстве «Возрождение» — вышло его собрание стихов, в которое он не включил первые свои две юношеские книги и которое содержит в себе целиком сборник «Тяжелая лира», вышедший перед самым его отъездом из России и переизданный в 1923 году в Берлине, сборник «Путем зерна» и отдел стихов, написанных в эмиграции (1922-1927 гг.), под названием «Европейская ночь».

После 1927 года, Ходасевич почти не писал стихов. Их можно собрать не более 10-15-ти за последние двенадцать лет его жизни. Перед смертью вышла его книга воспоминаний — «Некрополь» (изд. Петрополис), содержащая статьи о поэтах-современниках, а также о М. Горьком.

Биографию Пушкина Ходасевичу написать не удалось. После него остались только наброски к ней и первые главы, которые он отчасти успел напечатать. Но в 1937 году вышла

его небольшая книга о Пушкине, содержащая ряд статей на пушкинские темы.

За годы эмиграции он сотрудничал почти во всех эмигрантских изданиях и был постоянным и близким сотрудником «Современных Записок».

Болезнь печени обнаружилась у него в 1939 году. Он сильно страдал и после операции скончался в Париже, не приходя в сознание. Похоронен он на кладбище в Бианкуре.

Библиотека его и вся квартира погибли во время немецкой оккупации, но часть бумаг сохранилась. Неизданных вещей после него не осталось, кроме различных набросков и отрывков. Остались письма к нему Горького, Белого, З. Гиппиус, Бунина и других.

О Ходасевиче см.: «Современные Записки» № 70, статьи Н. Берберовой и В. Сирина, книгу В. Вейдле «Поэзия Ходасевича» (изд. «Совр. Записки»), статью А. Белого «Тяжелая лира и русская лирика» («Совр. Зап.» № 15), газеты «Возрождение» и «Последние Новости» от 15, 16, 17, 18 июня 1939 года.

В советской России книги Ходасевича не читаются и имя его не появляется в печати, как непоколебимого антибольшевика.

17.

Андрей Митрофанович Ренников, один из коренных и самых видных сотрудников «Возрождения», хотя и был известен всей читающей России, но по достоинству до сих пор все еще не оценен. Виной тому, как это ни дико звучит, его участие в лучшей, самой культурной российской газете — «Новое Время». Этого сотрудничества русские литераторы «интеллигентского» склада не прощали своим собратьям по перу. На имя Ренникова революционно настроенными русскими кругами был наложен запрет. Можно сказать, что его, как писателя и журналиста, очень любила широкая публика и всегда ненавидела либеральная русская пресса. Именно

этим объясняется, что, при большой известности, Ренников был обойден так называемой критикой. Характеризовать Ренникова, как писателя, в частности, как юмориста, в нескольких словах невозможно; для этого нужна особая, обстоятельная статья.

А. М. Ренников, по окончании физико-математического и историко-филологического факультета, был оставлен при Новороссийском университете по кафедре философии. В Одессе был сотрудником «Одесского Листка». С 1912 года в Петербурге был сотрудником и редактором отдела «Внутренних Известий» в «Новом Времени».

В эмиграции был сотрудником и помощником редактора в белградском «Новом Времени».

С 1926 года был постоянным сотрудником «Возрождения».

В России, помимо газетных статей, А. М. Ренников, выпустил в свет несколько романов, книг публицистического характера и по философии («Оправдание науки», «О психофизическом законе Вебера-Фехнера», «Этика Вундта» и статьи в «Вопросах психологии и философии»).

В эмиграции — автор нескольких романов и пьес из жизни русских эмигрантов.

В ответ на мою просьбу к А. М. Ренникову, ныне проживающему в Ницце, прислать о себе краткие автобиографические сведения, мною было получено от него следующее письмо:

«Дорогой Георгий Андреевич,

Своим предложением сообщить Вам кое-какие данные о моей прошлой деятельности Вы ставите меня в очень затруднительное положение. Прежде всего, я не уверен, была ли у меня вообще какая-нибудь деятельность. Во всяком случае я ясно помню, что в Петербурге, когда я работал в «Новом Времени», служившая у нас горничная — на вопрос любопытных соседей по дому: — «чем ваш барин занимается», — твердо ответила: — «Наш барин ничем не занимается. Он только пишет».

Ну, вот. А затем должен сказать, что я никогда в жизни не писал ни мемуаров, ни «Исповедей», а потому не имею никакого опыта для того, чтобы «Исповедь» вышла искренней. Мне, например, страшно трудно путем самоуничтожения возвеличить свою личность, как это мастерски делал Л. Толстой; или обрисовать блеск своих талантов, не хваля себя, а понося за бездарность других, как это делают в своих воспоминаниях некоторые наши бывшие министры или академики.

Скажу о себе кратко только следующее: что я считаю себя в выборе всех профессий, за которые брался, полным неудачником, каковым остаюсь и до последнего времени.

В самом деле. В раннем детстве мечтал я сделаться великим музыкантом, для чего усиленно играл на скрипке и занимался теорией музыки. Но из меня в этой области не вышло ничего, так как я не последовал русской музыкальной традиции: не поступил во флот, как это догадался сделать в свое время Н. А. Римский-Корсаков, не занялся химией, как А. П. Бородин, и не стал профессором фортификации, как Цезарь Кюи.

Бросив музыку, я решил писать детские сказки, на подобие «Кота Мурлыки». Писал их с любовью, со вдохновением. Но из сказок тоже не вышло ничего: автор «Кота Мурлыки» Н. П. Вагнер был профессором зоологии и открыл педогенезис, а я зоологией не занимался и педогенезиса не открыл.

Тогда, смекнув в чем дело, решил я взять быка за рога: намереваясь вместо сказок приняться за серьезную изящную литературу, стал я увлекаться математикой и астрономией, вполне справедливо считая, что достигнув впоследствии поста директора Пулковской обсерватории и открыв несколько астероидов, я сразу займу одно из первых мест в мировой беллетристике.

Но в моих планах оказался какой-то просчет. Окончив университетский курс, поступил я в обсерваторию, выверял уровни, работал с микрометрическими винтами приборов, сверял хронометры-тринадцатибойщики, а беллетристика моя не двигалась, особенно в области юмора и сатиры. И вот,

однажды, читая Чехова, я неожиданно сообразил, в чем дело: чтобы быть юмористом, нужно заниматься вовсе не астрономией, а медициной, судя по карьере Чехова. Ничто так не развивает юмористического отношения к людям, как анатомический театр, фармакология, диагностика и терапия.

Я немедленно бросил астрономию, поступил снова в университет, но, чтобы не вполне подражать Чехову, выбрал себе специальностью философию и остался при университете, лелея мысль, что теперь-то как следует продвинусь на верхи литературы, напишу что-нибудь крупное, вроде «Войны и мира», или не напишу ничего крупного, но все-таки сделаюсь академиком.

Прошло некоторое время... Моя «Война и мир» не появлялась. Вместо этого события, Россия всколыхнулась гражданской войной, советским миром... И я побежал, куда все.

Только за границей, подводя итоги крушению своих честолюбивых замыслов, я сообразил, наконец, почему не заменил собою Толстого и даже не попал в академики. Я, оказывается, переучился на двух факультетах. Ведь Толстой окончил университета, а я кончил. Бунин не окончил гимназии, а я кончил. Нужно было принимать какие-то спешные меры, чтобы забыть лишнее... И я стал усиленно писать в газетах и заниматься политикой, ибо ничто так хорошо не очищает голову от серьезных сведений, как политическая деятельность.

Что же сказать в заключение? Мечты своей написать «Войну и мир» я, конечно, не оставил. Что выйдет, не знаю. Но до сих пор, стремясь к вершинам искусства, стараюсь я применять испытанные обходные пути. Во флот мне, правда, поступать поздно; идти в профессора химии и зоологии, или изучать фортификацию — тоже. Зато сколько других боковых лазеек за последнее время прошупал я. Крестословицы составлял, башмаки из рафии шил, плюшевые игрушки делал, курятники на фермах чистил, огороды разводил, ночным сторожем был, шить на швейной машинке научился...

Что же? Неужели же я никогда не попаду в точку? Обидно!

И вот единственным утешением в таком случае останется мне Державин. Как известно, старик Державин, заметив всех нас, кому не везет, с утешением сказал: «Река времен в своем движении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если, — успокоительно продолжает старик, — если что и остается от звуков лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы».

Ну, а тогда все равно. Помнят ли тебя после смерти сорок дней, сорок лет, четыреста, или четыре тысячи.

Люди вообще народ забывчивый. Особенно — читатели.

Преданный Вам А. Ренников.

P. S. Когда будете печатать эту мою «Исповедь» («Confessions»), сообщите публике, что я не хотел обнародывать изложенных в ней интимных мыслей, но что между нами по этому поводу произошел жестокий спор, и Вы победили.

Это обычно вызывает усиленный интерес к написанному.

А. Р.».

18.

Единственный сын профессора Императорского СПб университета, потом академика и неперемного секретаря Императорской Академии Наук, С. Ф. Ольденбурга, Сергей Сергеевич Ольденбург учился в Московском университете на юридическом факультете. В Москву он попал потому, что здесь жили друзья его отца.

Мать Сергея Сергеевича умерла вскоре после рождения сына. О мальчике заботились друзья, главным образом семья московского профессора В. И. Вернадского и петербургского профессора И. М. Гревса. Это была группа ближайших друзей, под кличкой «Приютино», между которыми существовали братские отношения. Она состояла из видных университетских и земских деятелей: С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбургов, проф. И. М. Гревса с женою, проф. В. И. Вернадского с же-

ною, князя Д. И. Шаховского, А. А. Корнилова. Либералы, близкие участники издательства заграничной газеты «Освобождение», которую редактировал П. Б. Струве и затем видные члены-учредители кадетской партии, жили в самой тесной дружбе, братски помогая друг другу. Главный центр их деятельности находился в Москве. Этим и объясняется, что С. С. Ольденбург учился в Московском университете, в то время, как отец его жил в Петербурге.

И вот тут, живя в Москве, в самом центре деятельности кадетской партии, находясь постоянно в квартире В. И. Вернадского, бывшей, если можно так выразиться, — штаб-квартирой партии, С. С. Ольденбург проявил характерную для него особенность. Он был одним из основателей студенческого кружка партии октябристов, враждовавшей, как известно, с кадетами. И из квартиры Вернадского он по «кадетскому» телефону вел свои партийные октябрьские переговоры, чем немало возмущал Н. Е. Вернадскую, которая никак не могла понять странного упорства «Сигуни», как она называла С. С. Ольденбурга.

В это же время, проходя курс юридического факультета, Сергей Сергеевич стал писать стихи и мелкие рассказы. Рассказы эти были совсем недурны, — очень живые, написанные хорошим языком. Почему-то он не упорствовал в этом направлении, забросив первые свои литературные попытки и сосредоточившись на политике.

Во времена Добровольческой армии Сергей Сергеевич находится на юге России, преданный Добровольческой армии до конца. Его преданность какой-нибудь идее, какой-нибудь мысли, шла всегда до конца. Он неспособен был не только лгать, но даже немного покривить душой. Никакие расчеты личного характера, никакие соображения страха или даже простой дипломатии не могли заставить его сказать что-нибудь, что не соответствовало бы хотя бы в малейшей степени его мыслям и чувствам. Именно так он и был предан «белой идее», органически чуждый какого бы то ни было желания вступить в соглашение с большевиками. Во время отступления армии из Ростова он был болен тифом, лежал в больни-

це и попал в плен к большевикам в полубессознательном состоянии. Так он физически оказался по ту сторону баррикады. По выздоровлении, он перебрался в Петербург, где поселился в квартире отца, успевшего за это время приспособиться к большевикам и сохранить за собой казенную квартиру генерального секретаря Академии. Тут он пережил драму, которую он затаил в своей душе. Единственный сын, очень любивший своего отца, он разошелся с ним в вопросе о приятии большевизма настолько, что однажды пешком перешел границу и оказался в Финляндии эмигрантом, в лагере, враждебном его отцу. Когда отец его приезжал в Париж из советской России в официальные советские командировки, он виделся с сыном, но свидания эти едва ли могли быть приятными им обоим. Во всяком случае, С. С. Ольденбург никогда в своей единомышленной среде не говорил об отце.

Его работа в «Возрождении» прошла у всех на глазах. Зная в совершенстве несколько языков, обладавший исключительной памятью, С. С. Ольденбург никакого газетного сведения, никакой агентской телеграммы или телеграммы собственных корреспондентов не принимал на веру. Он все подвергал строгому анализу, который был ему доступен при его знании мельчайших событий из истории не только России, но и всех народов земного шара. Он с такой же свободой мог говорить о диктатуре южно-американских республик или о нравах жителей Кордильер или маленьких островков Тихого океана, как и об истории Петербурга и его жителей. Пока «Возрождение» было ежедневной газетой, он составлял первую страницу газеты, — политическую информацию текущего дня.

Памятные всем забастовки июня 1936 года превратили насильственно «Возрождение» из ежедневной в еженедельную газету. С. С. Ольденбург крайне болезненно переживал и самую забастовку, и изменение вида газеты. Тогда, под влиянием волнения, сказался в нем тот недуг, который унес его в могилу. Чувствуя недомогание, он обратился к врачу, который нашел у него чрезмерно повышенное давление. После месячного отдыха, Сергей Сергеевич вернулся к работе.

В сентябре 1939 года идейный хаос во всем мире, в связи с начавшейся войной, глубоко потряс непримиримого противника большевизма: он никак не мог разрешить вопроса, что же происходит в Европе. Одни вчера шли на дружбу с большевиками, другие сегодня с ними подружились, — на чьей стороне правда и где неправда.

В конце сентября 1939 г. С. С. Ольденбург тяжело заболел. Опять чрезмерно высокое давление, резкий упадок деятельности сердца и общее ослабление организма чуть было не довели его до слепоты. Два месяца пролежал он в больнице, поправился, вернулся к работе, но уже в таком виде, что на всех производил впечатление человека, о котором говорят: «он уже не жилец на этом свете». За десять дней до Пасхи 1940 года простудился, у него сделался жар, сердце не вынесло жара, и в Пасхальную Ночь, 28 апреля, после розговен с дочерьми и с племянником, почувствовал себя плохо, и через несколько минут жизнь его оборвалась.